
ЮНОСТЬ
5
1975



И. ТОИДЗЕ. **Родина-мать зовет!** (плакат 1941 года).

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



С 30-летием нашей Великой Победы, дорогие друзья!

Журнал основан в 1955 году

5 (240) МАЙ 1975

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА



Берлин. 2 мая 1945 года. Фото В. ГРЕБНЕВА.

Борис
ПОЛЕВОЙ

СЕКРЕТ ПОБЕДЫ

Великая Отечественная война для новых поколений советских людей уже становится эпической легендой. Ей посвящены романы, повести, рассказы. Ее герои воспеты в песнях. Их образы воссозданы и воссоздаются на экранах и на сцене. Ее сражениям и битвам посвящено много научных работ. И происходит удивительное явление—чем дальше отдаляются во времени те грозные, боевые годы, тем отчетливей мы видим, тем явственней осознаем величие и историческое значение всемирного подвига, совершенного советским народом, вдохновленным идеями коммунизма.

Интерес, живой и горячий интерес к тем, теперь уже давним, дням не ослабевает, а, наоборот, возрастает. Он, как эстафета, перешел уже от дедов — участников войны — к сынам, а теперь вот передается и внукам. Да, и внукам, изображающим в детских садах в своих первых рисунках героев войны и эпизоды боев и сражений.

И сейчас, через тридцать лет после того, как победный красный флаг взвился над цитаделью фашизма и отгремел последний, самый большой салют, минувшая война, война за мир на нашей старой, беспокойной планете, остается великой темой, вдохновляющей мастеров литературы и всех видов искусств.

Это закономерно. В те четыре грозные года советские люди, руководимые ленинской партией, в великих и тяжких испытаниях показали всему миру свою сплоченность, мужество, героизм и такую отвагу, какой еще не видело человечество.

Я присутствовал на Нюрнбергском процессе, где победившие народы антигитлеровской коалиции судили главных военных преступников второй мировой войны. Здесь были оглашены детально разработанные планы гитлеровского командования о порабощении народов Европы. Среди документов, извлеченных из тайных архивов гитлеровского рейха, был и так называемый план Барбаросса. В плане этом, закодированном именем самого страшного средневекового разбойника, были точно рассчитанные гитлеровским генеральным штабом замыслы завоевания Советского Союза.

Планы первых стадий гитлеровской агрессии в Европе были, как известно, выполнены, иные — даже ранее намечавшихся сроков. Под ударами танковых армад за месяцы, даже за недели падали государства, считавшиеся в Европе оплотом империалистической мощи. Гитлеровская армия в этих «блицсражениях» не только не ослабевала, но, наоборот, закалялась и крепла, приобретая опыт и захватывая и подчиняя себе ресурсы оккупированных стран.

Эти легкие в общем-то победы родили миф о непобедимости немецко-фашистской армии, который заставлял дрожать буржуазных политиков. Даже за океаном начали уже раздаваться панические голоса о том, что Гитлер непобедим и не лучше ли мирно договориться с ним, оставив Европу под его пятой.

Но все разом переменилось, когда светлой летней ночью, выбрав самый долгий день в году, Гитлер повернул свои армии на Восток и всей своей военной мощью обрушился на границы Советского Союза.

Тут его военная машина впервые забуксовала. И это на Нюрнбергском процессе должны были признать соавторы по плану Барбаросса фельдмаршал Кейтель и генерал Йодль.

После войны писатель Сергей Сергеевич Смирнов совершил поистине журналистский подвиг, исследовав эпопею защиты Брестской крепости и

по крупицам восстановив величественную картину одного из славных пограничных сражений. «Умираем, но не сдаемся»,— нацарапал на известняке крепостной стены один из защитников. А ведь такие сражения завязывались не только в Бресте, а на многих точках у границ страны, протянувшихся от Карского до Черного моря. Пограничники умирали, но не сдавались, и уже там, на первых пядях советской земли, враг почувствовал, что такое советский солдат, защищающий свою советскую землю.

А много позже историки подсчитали, что за первые три недели войны войска вермахта, отборные дивизии потеряли в сражениях около ста тысяч солдат и офицеров, более половины танков и почти 1 300 боевых самолетов. И это был цвет гитлеровской армии.

Так, защищая свое социалистическое Отечество, советские люди начали свою священную народную войну. И, отступая под напором превосходящих сил противника, советские воины превращали каждую реку, каждый овраг, каждую высотку в рубеж обороны, и уже на шестой день войны начальник штаба вермахта генерал Гальдер, тоже являвшийся одним из авторов плана Барбаросса, то ли со страхом, то ли с невольным уважением записал в своем дневнике: «...русские сражаются до последнего человека...»

От дня, когда была сделана эта запись, до дня, когда красный флаг взвился над решетчатым куполом сожженного рейхстага, прошли четыре года. И какие четыре года! Сколько они вместили, эти грозные годы! Героизм советских людей, так удививший и напугавший гитлеровского стратега в первую же неделю войны, с каждым месяцем все нарастал. Сражаясь почти всю войну один на один с армиями пяти государств гитлеровской коалиции, Советская Армия вписывала в историю второй мировой войны самые героические страницы... Разгром немецко-фашистских армий под Москвой... Сталинград... Курская дуга... Корсунь-Шевченковская операция, поименованная народом Сталинградом на Днепре... Каждая из этих страниц — эпопея мужества.

А эвакуация промышленности из угрожаемых районов в глубь страны! А воистину молниеносная перестройка всей промышленности на удовлетворение потребностей войны! А беспримерный, не имеющий себе аналогов подвиг тружеников Ленинграда! Трудовые чудеса творились рабочими Урала! Рабочие в те дни любили, когда их называли красноармейцами тыла. И это было закономерно. Им было не легче работать на оборону, в эвакуированных цехах, без стекол, даже порой без крыш, трудиться, не считая рабочих часов, часто недостаточно сытыми, а то и вовсе голодными. И при всем том — перевыполняя нормы.

Корреспондентская профессия однажды столкнула меня с удивительным примером народного героизма, в котором подвиги фронта и тыла как бы слились. Однажды, когда меня ненадолго вызвали с фронта в редакцию «Правды», я получил задание срочно выехать в Тулу, к которой почти вплотную подошла танковая армия известного в те дни немецкого генерала Гудериана. Выехал. Приехал в город ночью. И на первых же улицах этого погруженного во мрак города почувствовал себя как на передовой. Весь горизонт полыхал заревами пожаров. Грохотали орудия.

Тула была погружена во тьму, и улицы ее едва вырисовывались в мертвом мерцании осветительных ракет. Бой шел на земляных обводах, которыми туляки окружили свой город. Войск было мало, и, как мы узнали, авангард танковой армии Гудериана остановили части народного ополчения. Остановили, отрезали пути и не пускают дальше. А пока на южной окраине города туляки ведут бои, в цехах знаменитого русского оружейного завода за зашторенными окнами кипит работа. Оружейники, не снижая темпов, куют оружие для войска. Ремонтируют подбитые танки, и танки эти прямо из цехов идут в бой, и ведут их заводские люди — военпреды, контролеры, оружейники. Но что показалось мне тогда просто поразительным, это то, что в самые острые моменты, когда бой приближался к окраинам, тульские оружейники продолжали работать и, работая, перевыполняли свои нормы. И можно только пожалеть, что этот двойной подвиг старейшего пролетарского города как-то пока еще не отражен в литературе и искусстве...

В эти дни, когда над Родиной нависала смертельная опасность, славный советский тыл проявлял не меньший героизм, чем фронт, где советские воины сражались с объединенными силами фашизма. И тут нельзя не сказать о нашей советской молодежи. Подростки-мальчики и девочки работали у машин и станков, не зная усталости. Их малый росточек не давал дотянуться до рычагов машин, и они ставили под ноги скамейку или ящик. И работали, работали наряду со взрослыми, не отставая от них.

Какими мерами измерить, какими словами описать подвиги советских людей, совершенные на фронте, в тылу и за линией фронта, в тылу неприятельских армий!

Мне довелось дважды перелетать линию фронта, в густые леса моего родного Верхневолжья, где действовали и вели неустанную борьбу десятки больших и малых партизанских отрядов. И, живя среди партизан, наблюдая их суровый быт, участвуя в их борьбе, я все время поражался их просто-таки фанатической приверженности нашему советскому укладу жизни, нашим советским обычаям, строжайше ими соблюдаемым, поражался той неукротимой ярости, с какой они вели борьбу. Земля горела под ногами оккупантов.

Это отлично отразил Илья Эренбург в одном своем стихотворении:

...Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло вслед,
Подымались камни и стога,
И с востока двинулась пурга,
Ночью партизанили кусты,
И взлетали под ногой мосты,
Била немцев каждая клюка,
Их топила каждая река,
И закапывал, кряхтя, мороз,
И луна их жгла, как купорос,
Шли с погоста деды и отцы,
Пули подавали мертвецы,
И косматые, как облака,
Врукопашную пошли века...

Когда сейчас вот, тридцать лет спустя после великой нашей Победы, оглядываешься назад, обдумываешь все, что довелось увидеть и пережить в те грозные, суровые годы, когда, как бы соединив все, что сохранила память, стремишься установить для себя, что же сообщило народу нашему такую силу, превратило его в сказочного Георгия-Победоносца, поразившего копьем могучего, многоголового дракона, сразу же приходит однозначный ответ: партия. Наша ленинская партия. Ее идеи. Ее огромная, неутомимая организаторская деятельность.

И сразу четко, как в стереокино, всплывает перед глазами давняя картина. Сталинград. Поздний ноябрь 42-го. Пора самых яростных сражений. Знаменитая дивизия Александра Родимцева. Командный пункт полка в одном из подвалов разрушенного дома. Покрывшись полушубком, лежу на пружинистой сетке кровати без тюфяка и без простыней. Под головой подсумок, набитый корреспонденциями, которые, увы, не удается отправить, ибо по Волге идет шуга и переправы не работают. Лежу и не могу заснуть. А в другом конце подвала я вижу стол, обычный, даже монументальный письменный стол и за ним, накинув на плечи полушубок,— высокий, сутулый человек. Лампа-«сталинградка» из сплющенного снаряда высвечивает его бледное лицо с клочковатым румянцем на худых щеках. Он старательно пишет. Перед ним — две стопки красных книжечек. Это секретарь партийной комиссии, и заполняет он партийные билеты.

Вот он разогнулся, помассировал усталые пальцы. Встал и подходит ко мне. Поправляет съехавший полушубок, присаживается на койку.

— Не спите? Да, тишина. Тишина здесь — это настораживает. Наверное, новую атаку готовят.— А потом без перехода:— Вот сейчас надписывал партбилеты и думал: троих коммунистов вчера убили, а шесть человек приняты в партию. Растет партия, растет...

Он закашлялся. Сплюнул в носовой платок кровавую мокроту и продолжал:

— Вот на гражданке был я историком. Историю преподавал... История с античных времен рассказывает о том, что политические партии в годы благополучия росли, крепли, приумножались, но стоило судьбе повернуться к ним спиной, как они начинали таять и вовсе разваливались... А у нас может ли быть обстановка тяжелей? Враг тут, в центре России, у Волги, Ленинград задыхается в блокаде, половину промышленных городов фашисты у нас оттяпали. А партия растет, наша ленинская партия. Вот хоть моя статистика сегодняшняя — трое погибли смертью храбрых, а шестеро вступили. А ведь она, партия, им никаких благ не сулит. «Коммунисты, вперед!» — больше никаких привилегий...

И тут вдруг кругом загрохотало, пол массивного купеческого подвала задрожал...

— Ну вот, говорил я вам. Лезет в наступление... Вот она что сулит, сталинградская тишина...

Ах, как помню я этого человека, тяжелобольного, отказавшегося от отпуска, от эвакуации в тыл на госпитальное лечение! Он так и умер там, в Сталинграде, и не от пули, а задохнувшись в припадке туберкулезного кашля.

Под мирным небом последнего тридцатилетия выросло молодое поколение людей, для которых война находится за пределами их личного опыта. Подумать только, в нашей стране сейчас людей в возрасте до 34-х лет почти 150 миллионов.

Для нынешней молодежи правда о войне и память о войне объединяются чувством живой преемственности революционных, боевых и трудовых заветов отцов и дедов. Это чувство воплощается в героических трудах молодых наших современников — на гигантских стройках девятой пятилетки, в научных лабораториях, на заводах и сельских нивах. Духовная связь старших и младших поколений выражается в возросшей ответственности советского молодого человека за судьбы нашей революции, за укрепление интернационального братства людей труда. Уроки мужества и верности, которые извлекают нынешние молодые из бесценного опыта старших, помогают решать сложнейшие задачи социалистического развития.

И сегодня, вспоминая былые сражения и воздавая должное героям войны, мы думаем о нашей ленинской Коммунистической партии, которая в те грозные годы сплачивала и вдохновляла наш народ, сообщая ему богатырские силы.

Партия — это победа. Так было. Так есть. Так будет.

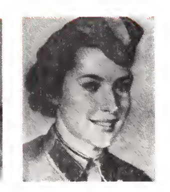
●

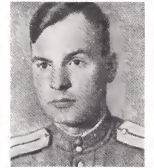


«ТОТ МАЙСКИЙ СВЕТ ПОНЫНЕ

М. КАСАТКИН, Г. ГЛАЗОВ, Ю. ДРУНИНА, П. ПАНЧЕНКО, К. ВАНШЕНКИН, А. ПИДСУХА, И. РЖАВСКИЙ, А. КОРЕНЕВ, М. МАТУСОВСКИЙ, М. ГЕЛОВАНИ (погиб в 1944 году в боях за освобождение Белоруссии), **Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ.**










ДЛИТСЯ...»

Михаил Касаткин

✪

Я не писал до третьих петухов,
Я начал не поэтом, а солдатом,
И было вовсе мне не до стихов
В сырой землянке с жиденьким накатом.
И лезла-то в глаза одна зола,
И ненависть смертельного накала
Совсем не к излияниям звала
И к исповеди не располагала.

✪

Как хотелось тишины
С караваем луны —
Вот такой ширины,
Вот такой длины!
Чтоб услышать довелось
Сердца тонкий тук
Да позваниванье звезд,
Поцелуя звук.
Как хотелось тишины,
Слово ласки жены,
Только басом старшины
Вновь мы оглушены.
Он ругается впотьмах:
— Эй, давай, не зевай!
Слева — враг и справа — враг —
Кого хошь выбирай!

✪

Проходит фронт на третьем этаже,
А мы втроем в пехотном блиндаже,
Где тонкой пылью щели и пазы
Струятся, как песочные часы.
Нам отоспаться к ночи дан приказ:
В разведку снова посылают нас.
Зенитки бьют, и самоходки бьют,
И выполнять приказ нам не дают.
Нарочно будто — лютая пальба.
Сползает каска на плечо со лба,
И я на теплых нарах привстаю,
Кляня вовсю чувствительность свою.
Шуршат сухою супесью пазы,
Торчат из-под локтей друзей носы,
Старательно рулады выводя
Под этот шорох, как под шум дождя.
Покрепче спите, други вы мои,
Нам предстоят опасные бои,
Нам предстоит еще такая явь,
Которую пешком, ползком и вплавь
Нам завтра штурмовать и штурмовать...
Буди пораньше нас, Отчизна-мать!

✪

Спасителен костер,
Когда мы коченеем,
Он руки к нам простер
Мохнатым Берендеем.
В неделе фронтовой,
При морози январской
Нам греться не впервой
Костра горячей лаской.
Вокруг снега, снега
На каждом километре
Да ольхи, донага
Ограбленные ветром.
Да позади кусты
И, тиснутые чернью,
Потухшие костры
Великого кочевья...

✪

Я — на Малаховом кургане
Под солнцем, вплавленном в зенит,
И под ногами, под ногами
Трава в беспамятстве звенит.
А может, это кровь в ушах
Пульсирует, смиряя шаг.
Дышу историей самой,
Чья атмосфера тяжела.
Возьми и обернись зимой,
Невыносимая жара!
Но не такой, какой была
В сорок втором зима на Волге,
Огнем сожженный танк дотла,
И снег кружится, как осколки.
Ту зиму мне нести до гроба
На сердце, как солдатский опыт.
И льды ее, ее сугробы
Ничто на свете не растопит.
Она — вдали, она — вблизи:
С обоих окружает флангов.
Вы приглядитесь: на Руси
Что ни курган ведь, то Малахов...

Артистка

Мы сели в затишке
Ноябрьского подворья
На жердочке, на камушке —
По одному, по двое.
Запела под баян,
Приокнув по-рязански,
О мужестве полян
И тропок партизанских.
Ни крови, ни обид
Та песня не прощала,
Но все же выше битв

К чему-то приобщала.
К горенью среди тьмы
Огнем неопалимым,
О чем вздохнули мы,
Как о невыполнимом...

✪

Мечта была — скопить деньжонок
Хоть мало-мальски — не чувал
И жить в гостиницах дешевых
В местах, где некогда бывал,
И воевал, и наловал
Впритирку с рядовыми спал,—
И санинструктор и разведчик,
За все Отечество ответчик.
Что вымахало там! Трава
Забвенья в человечий рост!
О пнях пожарищ дерева
Что говорят собранью звезд!
Хотелось заново понять,
Кто уцелеть тогда помог мне,
На льду, где я лежал, как в морге,—
Бог иль земля — родная мать!!
Скорей всего она, сырая
И мерзлая, железа тверже.
Ее пруды, кусты, сараи
Спастись мне пособляли тоже.
И преступленье — напоследок
Мне с ней беседовать уныло,
На столько зим, на столько лет
Отсрочившей мою могилу.

✪

Я отпросился на пять дней
В штабной землянке
На место гибели друзей —
На полустанке.
Ни воя мин, ни свиста пуль
По листьям мокрым.
Дождливым выдался июль
В сорок четвертом.
По схеме от руки в лесок
Шагая ближний,
Наткнулся я на ручеек —
Совсем не лишний.
Отмыл дорожный едкий пот
И грязь теплушки.
Прошел еще вперед — и вот
Я на опушке.
Березы тонкие кругом
В свеченье грустном,
Кирпичиками убран холм,
Цветы по грунту.
Вблизи березок тех, сутул,
К звезде фанерной
Встаю в почетный караул,
Присяге верный.
Мне ветер волос шевелит,
А может, ужас,
Что здесь не плачется навзрыд,
Как я ни тужусь.
Сухи отцветшие глаза,
Сухи без пыла,
Как будто выжгла их гроза
И ослепила.
Дождинок россыпь по кустам
И на малине:
Уж не мои ли слезы там,
Уж не мои ли!

Григорий Глазов

В майский день...

От тишины, от глаз солдаток
в тот день пошел особый свет.
Он был не долог и не краток,—
он был, как явь и как завет...
Тот майский свет доныне длится
и днем погожим и во мгле...
Ничто плохое не случится,
пока мы живы на земле,
покуда живы дети, внуки —
нервущаяся связь времен,
пока людские помнят руки
шершавый шелк родных знамен,
пока звезда с небес лучится
и сквознячок поет в стволе...
Ничто плохое не случится,
пока мы живы на земле.

✪

То, что прежде умел, устарело.
То уменье теперь ни к чему.
Но инстинкту послушное тело
неспроста помогает уму
помнить мокрую глину траншеи
и снаряда летящего вой,
переспелые чирьи на шее,
горький дым над пожухлой травой.
Равновесие то не нарушу.
Цепь надежную ту не разъять.
Если даже когда-нибудь струшу —
тело встанет под пули опять.

✪

Была у музыки причина
рассветный отстранить покой...
Сидел, задумавшись, мужчина,
от всех прикрыв глаза рукой.
В пристанционном том буфете,
где пиво в кружках подают,
где дремлют на скамейках дети,
забыв, что есть иной уют.
Все ждали поезда. Ворчала
буфетчица. Синел рассвет.
И только музыка звучала:
слерва вопрос, затем ответ.
Она, случайная, постигла
мужской тоски простую суть.
Она его, как боль, настигла
и дальше свой вершила путь.
Та музыка негромко пела
про дом, про желтое жнивье.
А рядом женщина сидела
и тоже слушала ее.
Навек их музыка связала
сплетеньем пройденных дорог
и все той женщине сказала,
чего он сам сказать не смог...

✪

Он спал на выпавшем привале,
минуте той случайной рад.
Его по имени не знали
еще ни Прага, ни Белград.

А было лет солдату мало.
Тверда постель его была.
И где-то под Рязанью мама
его Володею звала.
А было лет солдату мало.
Как в детстве, сон его сморил.
Но шла война. И слово «мама»
он вслух давно не говорил.
Молчали пушки и моторы.
Притихший лес стоял в дыму.
Молчал гранит под ним, который
пойдет на памятник ему...

Юлия Друнина

✪

За тридцать лет я сделала так мало,
Хотя мечталось столько сделать мне!
Задачей, целью, смыслом жизни стало
Вас воскресить — погибших на войне.
А время новые просило песни,
Я понимала это, но опять
Домой не возвратившийся ровесник
Моей рукою продолжал писать.
Опять, во сне, ползла, давясь от дыма,
Я к тем, кто молча замер на снегу...
Мои однополчане, побратимы,
До самой смерти я у вас в долгу!
И знаю, что склонитесь надо мною,
Когда ударит сердце, как набат,
Вы — мальчики, убитые войною,
Ты — мною похороненный комбат.

✪

А я вспоминаю снова —
В горячей густой пыли
Измученные коровы
По улице Маркса шли.
Откуда такое чудо!
Коровы в столице! — Бред!
Бессильно жрецы ОРУДа
Жезлами махали вслед.
Буренка в тоске косила
На стадо машин глаза.
Деваха с кнутом спросила:
— Далече отсель вокзал!
Застыл на момент угрюмо
Рогатый брюхатый строй.
Я ляпнула, не подумав:
— Вам лучше бы на метро!
И, взглядом окинув хмуро
Меня с головы до ног:
— Чего ты болтаешь, дура! —
Усталый старик изрек.
...Шли беженцы по столице,
Гоня истомленный скот.
Тревожно в худые лица
Смотрел сорок первый год.

✪

Как все это случилось,
Как лавиной обрушилось горе!
Жизнь рванулась, как «виллис»,
Изогнулась вдруг Курской дугою,
Обожгла, как осколок,
Словно взрывом, тряхнула.
Нет ни дома, ни школы,
Сводит судорога скулы.
Все, что было — то сплыло,
Все, что не было — стало...
Я в окопе постылом
Прикорнула устало.
Где взялось столько силы
В этом худеньком теле!
Надо мной и Россией
Небо цвета шинели...

✪

Была казарма на вокзал похожа,
И не беда, что тесно,— так теплей.
Одну каморку выделили все же
Нам, выписанным из госпиталей.
Нам, школьницам, еще почти что детям,
Нам, ветеранам из стрелковых рот —
Не сорок первый шел, а сорок третий,
Шел умудренный, как сверхсрочник, год...
В два этажа незастланные нары,
На них девчушек в гимнастерках рать.
Звон котелков, да перезвон гитары,
Да ропот: — Сколько назначенья ждать!
Мы научились ненавидеть люто,
Хоть полюбить едва ли кто успел.
...Смешно, но грохот первого салюта
Мы приняли тогда за артобстрел!
Потом к стеклу приклеились носами,
Следя за ликованием ракет —
Не тех, которые зловеще повисали
Над полем боя, мертвый сея свет...
Мы плакали: совсем не в дальней дали,
В прекрасный этот, выстраданный час
Нас, санитарок, раненые ждали,
На помощь звали раненые нас...

✪

Могла ли я, простая санитарка,
Я, для которой бытом стала смерть,
Понять в бою, что никогда так ярко
Уже не будет жизнь моя гореть!
Могла ли знать в бреду окопных буден,
Что с той поры, как кончится война,
Я никогда уже не буду людям
Необходима так и так нужна!..

✪

Ни от себя, ни от других не прячу
Отчаянной живучести секрет —
Меня подстегивают неудачи,
А в них, спасибо, недостатка нет.
Когда тащили раненной из боя,
Когда в глазах темнело от тоски,
Не опускала руки, а до боли
Сжимала зубы я и кулаки.

✪

Вновь от тебя нет писем,
Тревога без конца.
От милых мы зависим,
Как песня от певца.
От милых мы зависим,
Как парус от ветров.
Вновь от тебя нет писем —
Здоров ли, нездоров!..

Уходит поколенье,
Уходит навсегда.
Уже не в отдаленье
Грохочут поезда.
Они увозят в вечность
Моих однополчан...
Платком укутав плечи,
Шагаю по ночам
Я от стола к постели
И от дверей к окну...
Пиши мне раз в неделю
Хотя б строку одну!

Пимен Панченко

Казуличи

Многие события упущены
Памятью стареющей моей.
Но деревню эту на Бобруйщине
Не забуду до скончанья дней.

Там читал я школьникам Купалу,
Там я строки первые сложил...
А деревня в пламени пропала,
Нет ни очевидцев, ни могил.

Черный сон. Стенанья напоследок..
Где я был! В какой траншее мок!
Гнал палач живых моих соседок
В тот огонь.
А я помочь не мог.

Слов и слез не надо.
Всколыхнул их —
И молчу, сраженный наповал.
Там сожгли и вас, Матрена Булах,
У которой я квартировал.

Пепел человеческий не стынет,
Не забыты беды и бои.
В скорбном списке
На стене в Хатыни
Значатся Казуличи мои.

Перевел с белорусского
Я. ХЕЛЕМСКИЙ

Константин Ваншенкин

Баллада о последнем

Контролировал квартал
На подходе к дому.
Со стрельбой перебегал
От окна к другому.
Хруст известки. Звон стекла.
Тяжесть ног чужая.
Плохо то, что кровь текла,
Целиться мешая.
Он мечтал укрыться в тень,
Лечь в зеленой пойме...
Два патрона между тем —
Все, что есть в обойме.
Под смородиновый куст...
Не будите скоро...
Только был патронник пуст,
Жалок стук затвора.
С ног внезапной пулей сбит,
Сжался под стеною,
И казалось, будто слит,
К ней припав спиною.
И настала тишина,
Но такого рода,
Что была поражена
Вражеская рота.
В оседающем дыму,
В городском квартале.
— Выходи по одному! —
Мертвому кричали.

Курсанты

Им выпало, двадцатилетним,
Броне чужой наперерез
Шагнуть на рубеже последнем
С винтовками наперевес.
И приняла в себя могила,
Разверзшаяся тяжело,
Все, что на свете с ними было,
И все, что быть еще могло.

Деревья

I

Привет не от всех без разбора —
От тех, кто берет нас в полон:
Салют — от соснового бора,
От юных березок — поклон.
Деревьев различная внешность,
И шелест, и старческий скрип.
Стволов тополиных поспешность,
Скупая медлительность лип.

II

Роняют наземь семена
Деревья — баловни природы.
Возобновляется сосна,
И ель, и прочие породы.
Пока что силы не набрав,
Вблизи от клена, как сыночек,
Уже выказывая нрав,
Стоит еще один кленочек.
Я осторожно подошел,
И губы тронула улыбка:
Держала липу за подол
Такая маленькая липка.
А в сквере, сидя на скамье,
Прислушиваюсь огорченно
К тому, как желуди во тьме
Отскакивают от бетона.

Фонтан осенью

Уже стояла осень в городке,
Листва с ветвей валилась неустанно,
И вяло колыхалось вдалеке
Холодное растение фонтана.

Он был здесь всем и каждому знаком,
Он летом лел, но осенью суровой
Казался ломким, высохшим цветком
С прозрачно-серебристою основой.
Он шелестел, шуршал, а впереди,
Питаемые облачной рваниной,
Предполагались долгие дожди
Над этой нескончаемой равниной.

Древо реки

Я помню, как в школе нашел
На карте зеленой расцветки
Синеющий кряжистый ствол,
Где мощные нижние ветки.

А ввысь — утоньшенье ветвей,
Естественно связанных с теми,
Живущими близко,— верней,
В одной кровеносной системе.

Могучее древо реки,
Великое средство защиты.
Им лучшие материки
Насквозь, будто дратвой, прошиты.

Лишь странным покажется нам
От кроны, шумящей высоко,
К стволу, а потом и к корням
Движение синего сока.

Парнас

Было наше все при нас,
И как будто по приказу
Пробивались на Парнас,
Взять его желая сразу.

Поднимались под огнем
Вдруг возникшего заслона.
Кто хватился: «Подомнем!»,—
Кто валился вниз со склона.

И от гибели за миг,
Обрываясь в тучах лыпи,
Что причина в нас самих,
Мы понять не в силах были.

Ну а сделались стары,
Что, наверное, наш минус,
Добрались, глядим с горы:
Мол, попробуй-ка возьми нас!

Александр Пидсуха

ИЗ ФРОНТОВОГО ДНЕВНИКА

✪

Мы осенью вышли на берег Днепра.
Вокруг ни кусточка, ни хаты.
Пришел замполит и сказал нам: — Пора!
Пора на тот берег, ребята!

Два лета нас ждут, а вон там, на горе,
В печали склонилась калина...
Да разве мы можем стоять на Днепре,
Когда за Днепром — Украина!

✪

Сколько б ни жил, до конца моих лет
В памяти будет тот город спаленный.
Улица. Трубы печные. И дед,
Древний, босой, над клюкою склоненный.

За сто, наверное, было ему.
Встал, оглядел черноту городскую.
Тихо сказал нам: — Спасибо тому,
Кто вас послал, за подмогу людскую!

Не позабыть мне седых матерей,
Слезы и чье-то щемящее слово.
Не позабыть до конца моих дней
Деда столетнего, деда босого...

✪

На небе солнце, и весна,
И журавлиный лет.
А на земле война, война,
Война четвертый год.

Еще немало мне идти
Сквозь дымные бои,
Но уж видны мои пути,
Свершения мои.

Я заплатил сполна врагу,
Я уцелел в огне...
И на серетском берегу
Дунай приснился мне.

На небе солнце, и весна,
И журавлиный лет.
А на земле идет война,
Идет последний год.

Перевел с украинского
Л. СМИРНОВ

Иосиф Ржавский

✪

Забыть друзей
Я не имею права,
По ним в строю
Равнялся на войне.
Я тоже был в строю
Четвертым справа,
И кто-то
Должен помнить обо мне.

✪

Мне вновь идти в атаку на рассвете,
Давным-давно оставив отчий дом,
Не знаю, может быть, на этом свете
Мне этот бой приснится иль на том.
Но я, как все, не думаю о чуде,
Одна война на всех, одна беда.

На свете том мы все когда-то будем,
Так стоит ли загадывать — когда!
Да, в двадцать умирать совсем не просто—
Не за медали и не за почет.
На пьедесталах небольшого роста
Стоят друзья, и время им не в счет.
И так без них всю жизнь мне одиноко,
Как, может быть, им худо без меня!
...И у черты отмеренного срока
Паду, как те, на линии огня.

✪

Вдали дымился грозный небосклон,
А неба изрешеченного полог
На плечи лег и вдруг прервал наш сон,
Который у солдат не так уж долог.
Среди полей, обугленных огнем,
Прошедшей ночи серые остатки
С шинелью вместе мы скатали в скатки
И по тревоге на плечах несем.
Каким он будет, этот новый день!
Заранее никто не напророчит.
Но даже наша собственная тень,
И та и та опередить нас хочет.

✪

Старые солдатские могилы,
Проседь опечаленных берез.
Сколько их, безвестных, схоронили
Без цветов, без гроба и без слез.
Мы с врагом сочлись за кровь и муки,
Не под возглас: господи, спаси!
На груди не скрещивали руки,
Как извечно было на Руси.
И не по-церковному, конечно,
Мы свечу не клали в их ладонь,
Уносили мы с собою вечный
В мертвом взгляде дрогнувший огонь.
Тридцать лет над нами в небе мирном
Журавли курлычут в сизой мгле.
А они лежат по стойке смирно
В нашей непоруганной земле.

Александр Коренев

Иду с войны

Централка грохает в лесу,
Прыжок самца косой,
А пуля, хорду описав,
Вливается осой...

Кричит, как филин, паровоз,
Шатается вагон.
И поршни рубят на лапшу
Стоверстный перегон...

По треку гонщик промелькнет,
Обуглясь до костей
От вспышки молний золотых
В коробке скоростей...

А на десантный самолет,
На бросившихся в вихрь,
Земля, земля, земля идет,
Земля идет на них!

Вознесся паводковый лед,
Сверкнул метеорит.
Везде стремление вперед,
На этом мир стоит.

Салют, взрываясь на лету,
Пронзает высоту.
Вот так и я к тебе иду,
С войны к тебе иду!

Михаил Матусовский

Мир дому сему

Мир окнам, глядящим в ненастную тьму.
Мир ильменским чащам. Мир дому сему.

Мир ходикам старым, стучащим в ночи.
Мир кислой опаре, всходящей в печи.

Мир сну на соломе, мир добрым гостям.
Мир сохнущим в доме рыбачьим сетям.

Мир ликам суровым по темным углам.
Мир скамьям дубовым, а также столам.

Мир спящим младенцам, укрытым холстом.
Личным полотенцам, расшитым крестом.

Бесхитростным сказкам с их целью простой.
Мир луковым связкам над каждой плитой.

Мир людям толковым, кто честен и прям.
Счастливым подковам, прибитым к дверям.

Мир утренней пище, хлебам, что круглы.
Мир лодочным днищам в подтеках смолы.

Мир свежей, как утро, воде из ковша.
Мир правилам мудрым — решать, не спеша.

Гончарной посуде, укладу всему —
Мир всей его сути, мир дому сему!

В заповедной пушкинской тиши

Трепетно звучали подголоски,
Как звенят зорянки на заре.
Пел Иван Семенович Козловский,
В Святогорском пел монастыре.
Пел высоким сводам и колоннам,
Окнам пел и пел всему вокруг,
Провожая взглядом просветленным
Каждый улетавший к небу звук.

Этот вскрик челесты, это пенье,
Этот голос, бивший наповал,
Старомодным словом «вдохновенье»
С полным правом я тогда назвал.
Он не смел себе давать поблажки,
Да и наши не щадил сердца,
Наделенный горестным и тяжким
Дарованьем русского певца.
Пел, как будто истово молился
В заповедной пушкинской тиши.
Пел, как будто с ближними делился
Тайными богатствами души.
Главным здесь была не верность нотам
И, пожалуй, даже не вокал,—
Он как бы потерянное что-то
Долго и мучительно искал.
Пел, как будто он решился разом
Подвести прошедшему итог.
Пел не потому, что был обязан,
Потому что он не петь не мог.
Звон вечерний слышался нам, что ли,
Виделся ли в поле санный след.
Это было все как приступ боли,
От которой избавленья нет.
Я стоял, в одно на свете веря,
Весь отдавшись чувству одному,
Будто бы и я в какой-то мере
Был причастен к таинству тому.

Уличный фотограф

Уродуя лица людские,
Как подлинный рецидивист,
Фотограф снимает на пляже
В заманчивых позах девиц.

Фотограф снимает русалок
В купальниках цвета небес,
А также курортных знакомых
В соломенных шляпах и без.

Снимает почтенных супругов,
Как будто застывших на миг,
И рядом сидящих младенцев,
Бесспорно, похожих на них.

Фотограф, лишь только мигните,
Мгновенно вас преобразит.
Для этого он в чемодане
И носит с собой реквизит.
Он плащ вам набросит на плечи,
Найдет подходящий убор —
И вот вы не счетный работник,
А пламенный тореадор.

Потом извлечет бескозырку,
На вас нахлобучит бочком,
И вот уже — полный порядок —
Считайте себя моряком.
Есть все у того чародея,—
Лишь волю свою изъявляй,—
И круглая шляпа ковбоя
И веер мадам Баттерфляй.

Как мастер портретного жанра,
Он дожил до наших годов,
Курортной толпы Леонардо,
Веласкес базарных рядов.
Над этим расхожим искусством
Я был посмеяться бы рад,

Но, видимо, дорог кому-то
Треногий его аппарат,

И это: «Спокойно, снимаю!» —
Похожее на колдовство,
И мир полудетских обманов,
Нехитрых иллюзий его.

Мирза Геловани

✪

Ты не пиши мне о цветенье миндаля,
о том, что небо на Мтацминде возлегло,
о том, что вновь сверкает Грузия моя
волшебным камнем, излучающим тепло,
о том, что вновь на Ортачала белый плащ,
что вся в цветах — как Ортачала — ты сама,
что у Куры опять во вздохе слышен плач,
едва с Метехи поравняется она...
Был ночью бой. Был ночью гром.
Был взрыв — как вскрик.
В сплошном дыму, когда не видно ничего,
вдруг где-то там, за нами, в молниях возник
Тбилиси мой таким, как знали мы его.
На Ортачала цвел миндаль назло войне.
Лежало солнце на Мтацминде тяжело.
И ты, родная, ты опять казалась мне
волшебным камнем, излучающим тепло.
Смешная просьба: ты мне лучше не пиши.
Я, право, знаю все, как будто вижу сам:
вот кто-то за полночь во весь размах души
по полю шастает, чтоб к полдню быть
цветам.
Уж я-то знаю: есть незыблемая связь
меж светом солнца и теплом людских
сердец.
Когда бы пуля эта мимо пронеслась,
когда б и дальше миновал меня свинец,—
придя к тебе из мглы, из ада — из войны,
сказал бы я:—Смотри, вот я пришел домой,
и оба солнца — и победы и весны —
в знак торжества стоят над смертью,
над зимой.

Ты

Ты видел, как горели небеса —
горели и неслыханно и мутно,
и пуля прожужжала, как оса,
предпочитая друга почему-то.
Он пал ничком, царапая траву.
И, словно медсестра над павшим братом,
вдруг тень весны возникла наяву
над бледным днем, с бледнеющим
солдатом.
И дрожь тебя пронзила до костей,
и сам ты стал слабей и уязвимей.
Но вспомни путь и встреченных детей,
забывших дом, забывших даже имя.
В них горько все: и взгляд и скорбный
рот...
И ты идешь. И кровь на белом свете.
И ничего от смерти не спасет,—
одно спасенье есть: убийство смерти.

✪

Пусть сердце закопают поскорей,
когда оно окажется ничтожным.
Мои деревья!
Снова до зари
мне что-то шепчет изнутри
под ветром, темным и тревожным,
что на земле
не пропадут под этот вой
ни шепест ваш,
ни скромный гопос мой.

Перевел с грузинского
Ю. РЯШЕНЦЕВ

Евгений Долматовский

Рассказ солдата

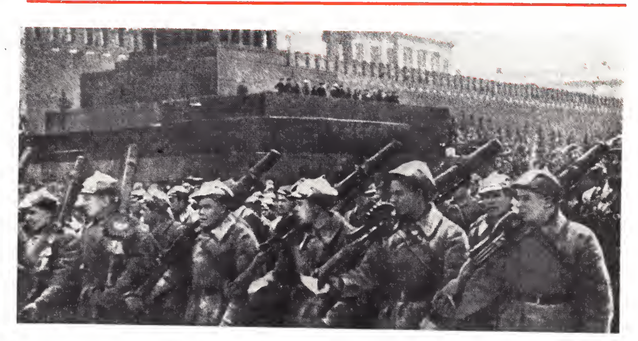
Напрасно называют меня простым
солдатом.
Солдат войны великой — какой же я
простой!
Вам мой портрет известен по стареньким
плакатам,
Хоть я не отличаюсь особой красотой.

Победа не приходит по щучьему веленью.
Я начал на границе, очнулся под
Москвой.
Почти четыре года на главном
направленье
Провел я в лазаретах и на передовой.

Мне маршальскую должность в запасе
узаконьте!
С годами все огромней всемирность
наших дел.
В окопе самом крайнем на всем
германском фронте,
У Северного моря я, съежившись, сидел.

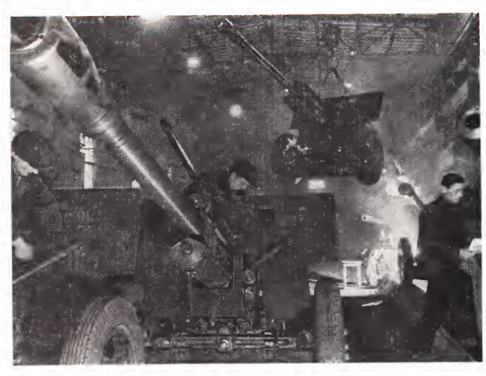
С бутылкою бензина бросался я на
танки,
Врагам потом с «катюши» отходную
играл.
И под Новороссийском — на самом
левом фланге
На пляже черноморском зимой я загорал.

В атаку шел при встречном и при
полутном ветре,
Как вышел и как выжил — сам черт
не разберет.
На левом и на правом — на флангах был
и в центре.



Красная площадь. 1941 год. С парада на фронт.

С фотовыставки «Великая Победа».



Еще одно орудие готово к бою. 1942 г.

Фото В. МУСИНОВА.

С фотовыставки «Великая Победа».

Одну лишь знал команду — за Родину, вперед!

Зачем вы говорите, как о простом солдате,
О пане, господине, товарище... о том,
Кто во дворцах и замках и в каждом магистрате
Был сутки после штурма царем и королем.

Но возраст пенсионный... Остался я за штатом
С садово-огородным участком родовым.
Ну, ладно, называйте меня простым солдатом.
Всего почетней зваться гвардейцем рядовым.

Помнят люди

На земле многострадальной белорусской
Наш разведчик в руки ворога попался.
Был захвачен он, когда тропинкой узкой
В партизанские районы пробирался.
Был он смуглый, черноглазый, чернобровый,
Он из Грузии ушел в поход суровый.

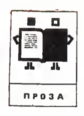
— Ты лазутчик! Признавайся в час последний!
Отвечал он: — Из деревни я соседней.

По деревне, по снегам осиротелым
Повели его галдящею гурьбою.
Если врешь, не миновать тебе расстрела,
Если правда, то отпустим, черт с тобою!
Не иначе, лейтенантом был ты прежде,
А теперь в крестьянской прячешься одежде.
Отвечал он: — Вот вторая хата с края,
Проживает там сестра моя родная.

Тяжела его прощальная дорога.
Конвоиры аж заходятся от злости.
Смотрит женщина растерянно с порога,
Незнакомца к ней ведут лихие гости.
Узнаешь ли ты, кто этот черноглазый!
Что ответить, коль не видела ни разу!
Оттолкнула чужеземного солдата:
— Ты не трогай моего родного брата!

И прильнула вдруг к щеке его колючей,
От мучения, от смерти заслонила.
На Полесье помнят люди этот случай,
В лихолетье, в сорок первом это было.
Ничего о них мне больше неизвестно,
Но о брате и сестре сложилась песня.
Может, в Грузии ту песню он услышит
И письмо ей в Белоруссию напишет...





Наталья
КРАВЦОВА

ВОЗВРАЩАЯСЬ В ЮНОСТЬ СВОЮ

ПОВЕСТЬ

Журнальный вариант.

Рисунки
Марины ПИНКИСЕВИЧ

Предисловие

Мы, товарищи Натальи Кравцовой по Союзу писателей, знаем, конечно, какое высокое звание она носит, и иногда видим на ее груди Золотую Звезду Героя. Но, вероятно, немногие среди нас знают, что боевая доблесть и мужество этой маленькой, изящной и удивительно моложавой женщины отмечены не только Золотой Звездой и орденом Ленина, но еще тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны, Красной Звезды и множеством медалей, и что на счету у нее девятьсот восемьдесят боевых вылетов. Она не только героиня-летчица, но человек большой скромности — качество, обычно присущее настоящим героям.

Наташе Меклин (ныне Кравцовой) было 17 лет, когда в 1940 году она окончила аэроклуб. Через три месяца после начала войны она, студентка второго курса Московского авиационного института, ушла добровольцем на фронт и попала в знаменитое женское авиационное соединение Марины Расковой. Кстати, на фронте была вся ее семья — и отец — офицер Советской Армии, и мать — военфельдшер. Уже в мае 1942 года началась ее боевая работа в воздухе.

Большой путь по фронтам Великой Отечественной войны прошла летчица 46-го гвардейского Таманского женского авиаполка ночных бомбардировщиков Наталья Меклин. Она начала его в Донбассе, летала на Северном Кавказе, на Кубани в районе знаменитой «Голубой линии», в Крыму, а потом в составе войск 2-го Белорусского фронта над землями Белоруссии, Польши и Германии. Почти тысяча боевых вылетов, каждый из которых мог оказаться последним, как это случилось со многими ее подругами!

Она из того поколения славных советских женщин, которые в дни самых тяжких испытаний для Родины стали бок о бок с мужчинами на ее защиту и сражались во всех родах войск, овладели всеми видами оружия и боевой техники. И Родина высоко оценила ее заслуги.

В мирные дни Наталья Федоровна Кравцова овладела еще одним важным родом оружия — пером писателя. В 1967 году на страницах журнала «Знамя» появилась ее первая повесть «От заката до рассвета» — записки летчицы. Сейчас она уже автор четырех книг и в 1972 году была принята в члены Союза писателей.

Я думаю, читатели новой повести Натальи Кравцовой в дни 30-летия Великой Победы присоединятся к моему сердечному поздравлению героине и к пожеланию ей больших успехов на ее новом, менее опасном, но не менее трудном литературном фронте.

С. С. СМИРНОВ,
лауреат Ленинской премии

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ

Нет, не сидится мне сегодня на уроках. Я рассеянно слушаю учителей, отвечаю невпопад и никак не могу дождаться конца занятий. Последний час кажется мне самым долгим. То и дело я оборачиваюсь и спрашиваю время у белокурой Мурки: у нее есть часы.

— Сколько осталось?

— Пятнадцать!

Мурка отвечает мгновенно, будто заранее знает, когда я спрошу. Каждый раз в ее глазах вспыхивает огонек — для нее это вроде игры. Проходит еще немного времени, и я, не выдержав, опять спрашиваю:

— Сколько?

— Двенадцать! — громко шепчет Мурка.

Я вздыхаю. А в правом ряду впереди сидит Валя Чугарина и неотрывно смотрит на учителя, думая, конечно, о полетах. Только Валя меня понимает. Она часто бросает на меня быстрый, взволнованный взгляд. Валя не очень успевает в школе, так как дома ей приходится помогать больной матери и ухаживать за младшими сестренками. Только поздно вечером, когда все уснут и в единственной комнате становится тихо, она садится за уроки. Но в планерную школу Валя записалась: стать летчиком — ее заветная мечта.

Мысленно я переношусь туда, где на огромном зеленом поле стоят планеры. Их много... Я никогда еще не видела настоящего аэродрома — только в кино. Да и планера не видела. Но это неважно. Фантазия помогает дорисовать то, чего мне не пришлось видеть собственными глазами... Из множества планеров, окрашенных в разные цвета, я выбираю самый красивый — белый. И вот я уже в кабине...

Как медленно тянется время!

Книги давно собраны, портфель в руках, и я, как бегун на старте, жду сигнала, чтобы сорваться с места. Хочется крикнуть всем, что у меня сегодня особенный день — я впервые поднимусь на планере! Но я никому ничего не говорю: а вдруг полет не состоится, что-нибудь помешает...

Звонок!

Наконец я выбегаю в коридор, но здесь мне преграждает путь Оля Кузьменко.

— Талка, ты куда?

Оля учится в параллельном классе. Мы с ней большие друзья, рядом живем, вместе занимаемся в гимнастическом кружке и обычно делимся всеми своими горестями и радостями. Но сегодня я, не задерживаясь, на ходу объясняю ей:

— Я очень спешу, Оля! Потом расскажу, вечером!

Прыгая по лестнице через две-три ступеньки, я уже почти спустилась с третьего этажа на первый, когда вспомнила, что могу встретить учителя физкультуры, Федора Ивановича, и тогда мне не поздоровится: уже два раза подряд я пропускаю гимнастику. Стоило мне об этом подумать, как сразу же я увидела его. Федор Иванович стоял в дверях спортзала и сурово смотрел на меня. С виноватой улыбкой я поздоровалась:

— Здравствуйте, Федор Иванович...

— Здравствуй,— произнес он сухо и, отступив от двери, пригласил меня в зал: — Проходи!

Нехотя я приблизилась к двери и как-то боком, словно протискиваясь сквозь толпу, вошла в пустой зал. Мне предстояло оправдываться, но я не знала, что говорить: не хотелось ни огорчать Федора Ивановича, сказав ему о планерной школе, ни лгать ему.

Неутомимый спортсмен, фанатик своего дела, он многих в нашей школе заразил страстной любовью к плаванию, гимнастике, легкой атлетике. Я с удовольствием занималась под его руководством, но последнее время стала иногда пропускать гимнастику, потому что совпадали часы занятий в гимнастической секции и стрелковой школе. Теперь добавилась еще и планерная, или, как мы называли ее, планерка. О ней я вообще умалчивала...

— В чем дело? — спросил Федор Иванович, когда мы очутились в зале.— Почему не была на гимнастике?

Стараясь не встретиться с ним глазами, я устазилась на двух мальчишек, которые в стороне барахтались на матах. Урок только кончился, из раздевалки доносились голоса, смех.

— Так я же... Я просила Олю предупредить вас, Федор Иванович. Я была очень занята,— произнесла я, краснея.

— Ну вот что,— сказал он, положив мне руку на плечо.— Скоро городские соревнования, ты зто знаешь. Я на тебя надеюсь. И не один я, а вся школа. Сейчас нужно усиленно тренироваться. Запомни: усиленно!

— Я подготовлюсь, Федор Иванович!

— Все остальное пока забудь, поняла? — сказал он уже мягко.

Я с готовностью кивнула. В зто время в зал заглянула Оля и воскликнула, потирая руки:

— Попалась! Хотела улизнуть? Федор Иванович, давайте привяжем ее к шведской стенке! Куда бежишь? Опять на свою...

— Оля, Оля,— поспешно перебила я ее,— ты обещала показать мне новый комплекс вольных упражнений! Давай завтра...

Посмотрев на меня с удивлением, Оля расхохоталась. С короткой стрижкой, худощавая, жилистая, она была похожа на мальчишку.

— Ну и хитрюга!

— Завтра ровно в пять занятия секции,— строго предупредил Федор Иванович.— Если не явишься...

— Обязательно приду, Федор Иванович! — заверила я его, зная, что в зтот день не будет ни стрельбы, ни планерки.

Оля подхватила меня под руку и потащила к двери.

— Ты домой, Оля? Пойдем вместе,— предложила я, когда мы вышли.

— Нет, у меня комсомольское бюро.

Олю, живую, знергичную, постоянно выбирали в школьное комсомольское бюро и взваливали на нее немыслимое количество нагрузок, которые она умела быстро и незаметно переложить на других, и не только переложить, но и самым категорическим образом потребовать их выполнения.

— Опять бюро?

— Опять. Ну, говори: куда навострила лыжи?

— Знаешь, Оля, у нас сегодня полеты!

— По-ле-ты! — протянула она с иронией.— Верхом на палочке! Представляю!

Оля делала вид, что полеты ее не интересуют, но именно она предложила записаться в планерную школу. Однако, взвесив свои возможности, она сама отказалась от зтой идеи и теперь ревниво следила, как продвигаются мои летные дела.

— В самом деле — полеты на планере! Настоящие! — сказала я.

— А как же гимнастика?

Я пожала плечами: не бросать же планерку!

— Как-нибудь смогу... Успею.

Мы с Олей соперничали, и еще неизвестно было, кто из нас лучше выступит на соревнованиях. И все-таки она не хотела, чтобы я забросила гимнастику.

— «Как-нибудь» нельзя!

Но я не могла думать ни о чем другом, кроме полетов, и у меня вырвалось:

— Как жаль, что ты тогда не записалась! Мы бы сейчас вместе...— Вспомнив, почему она не пошла в планерную школу, я прикусила губу. Я же знала: если бы не больная сестра, прикованная к постели, Оля тоже спешила бы вместе со мной. Матери у Оли не было, и на ней лежали все домашние обязанности, так что она не могла позволить себе заниматься чем-нибудь еще, кроме гимнастики.— Я пойду,— сказала я тихо.

В моих словах прозвучала жалость к ней, чего Оля совершенно не выносила. Мгновенно вспыхнув, она грубовато спросила:

— Ты чего разнюнилась? Пи-лот! Топай!

Сильными руками она тряхнула меня за плечи и, повернув, подтолкнула вперед.

Домой я не иду, а почти бегу, подпрыгивая, размахивая портфелем — совсем как первоклассница. Неужели я кончаю девятый?

Ноги сами бегут, и скачут, и несут меня вперед. Меня провожает длинный ряд каштанов с розоватыми пирамидками свечей, и кажется, будто они освещают мне путь.

Мне легко и хорошо — так хорошо, как бывает только в шестнадцать лет, когда жизнь еще свободна от забот, а впереди тебя ждет радость. И я мчусь то вверх, то вниз по зеленым улицам моего города, ни о чем не беспокоясь, твердо убежденная, что май — самый чудесный месяц года, а Киев — лучший из городов мира!

СЛАВА, ТИМОХА И ДРУГИЕ

Я шагала по улице Кирова, спускавшейся к Крещатику. В конце улицы находилось здание городского Дворца пионеров, откуда вся наша группа должна была отправиться за город.

Планерная школа работала при Дворце пионеров, но занимались в ней старшеклассники, уже давно вышедшие из пионерского возраста. В группе нас было немного — человек пятнадцать, в основном парни. И только четыре девушки: Валя, сестры-близнецы Инна и Фаина, добродушные, смешливые, внешне совсем непохожие, и я.

Сначала мы изучали теорию — основы полета. Ее преподавал нам летчик-инструктор Короленко. Загорелый, статный, щеголеватый, в темно-синей летной форме и пилотке, лихо сдвинутой набок, он любил покрасоваться перед нами, рассказывая самые невероятные истории из жизни летчиков, где он был непременным участником и главным героем. Мы слушали, раскрыв рты, однако верили далеко не каждому его слову.

Хотя курс теоретических занятий был и без того коротким, всем нам не терпелось поскорее его закончить и приступить к полетам. И вот наступил наконец день, когда мы должны были отправиться за город на «планеродром» и, по выражению Короленко, «почувствовать воздух».

Я уже приближалась к стадиону «Динамо», входные ворота которого все еще были украшены первомайскими флагами, когда меня окликнули:

— Натка! Бежишь, как на пожар...

Слава Головин, догоняя меня, шел быстро, пружинисто, и его прямые, соломенного цвета волосы, аккуратно причесанные набок, вздрагивали в такт шагам. Крепкие мускулистые руки и худощавое лицо Славы уже успели покрыться коричневым загаром:

он часто бывал на Днепре, где плавал на яхте в спортивном клубе.

Когда мы вошли в вестибюль, ребята, сгрудившись вокруг Короленко, слушали его, а он, возвышаясь над всеми, сидел на подоконнике и, как всегда, что-то увлеченно рассказывал, широко жестикулируя.

Наш староста Володя Тимохин, или, как мы называли его, Тимоха, повернулся в нашу сторону, бросил быстрый настороженный взгляд на Славу и, словно не замечая его, сказал, обращаясь ко мне:

— А, Птичка... Давай к нам!

Неизвестно почему Тимоха недолюбливал Славу. Мне же Тимоха откровенно симпатизировал и считал своим долгом оберегать меня. Это он прозвал меня Птичкой. Вероятно, потому, что я была худенькой, тоненькой и вообще «мелкой». Как птичка. К тому же хотела летать...

Вообще Тимоха был человеком строгим, прямым и непреклонным. Он никогда не изменял своим взглядам. К делу, которым занимался, относился серьезно, отдавая ему всего себя без остатка. Словом, вел он себя так, будто уже сейчас, за два года до того, как Гитлер напал на нашу страну, знал совершенно точно, что впереди его ждет нелегкая судьба военного летчика, и заранее готовился к тому, чтобы выдержать все, что ему выпадет в будущем. Собранный и целеустремленный, Тимоха был абсолютно точно уверен в том, что добьется в жизни своего, и, казалось, в мире не было такой силы, которая могла бы сдвинуть его с намеченного пути. Как и другие ребята, он с увлечением строил модели самолетов и сам мечтал летать, ни капельки не сомневаясь, что скоро станет летчиком-истребителем, причем только отличным.

Забегая далеко вперед, хочу сказать, что вскоре после войны мне пришлось случайно встретиться с Тимохой. Выглядел он неважно, светлые глаза глубоко запали, лицо было какого-то землистого цвета. На нем был короткий стеганый ватник, на голове — потрепанная шапка-ушанка. Виделись мы с ним всего каких-нибудь пять минут и перебросились несколькими фразами, но я поняла, что все эти годы судьба не улыбалась ему. На его долю выпало немало испытаний — не только фронт, бой, ранения, но и плен, лагеря и многое другое. Однако ничто не могло сломить Тимоху — он по-прежнему держался независимо, и в глазах его светились твердость и несгибаемая воля. Я видела все то же знакомое мне решительное выражение лица, тот же упрямо выдвинутый вперед подбородок и те же, только потемневшие веснушки, прочно громоздившиеся на вздернутом носу, на щеках. И лишь одно непривычно было видеть на этом лице — морщинки. Они жестко прорезались прямыми черточками у самых глаз и в уголках крупного рта, глубокие морщинки — следы прожитых военных лет...

Мы подошли к ребятам и поздоровались. Короленко приветливо кивнул, не переставая рассказывать. Незаметно приблизившись ко мне, Тимоха оттеснил Славу — крупный, широкоплечий, он всегда держался рядом со мной, будто хотел защитить от кого-то. А может быть, хотел дать остальным понять, что только он должен находиться возле меня. Слава, относившийся к этому с юмором, никогда не противился и, охотно уступив место Тимохе, из-за его спины знаками объяснил: «Ничего не поделаешь — сила!»

Закончив рассказ, Короленко посмотрел на часы.

— Кого еще нет?

Задрав веснушчатый нос, Тимоха глянул на собравшихся командирским оком. В этот момент в дверях появились еще двое.

— Все в сборе, товарищ инструктор! — четко доложил он.— Нет только Виктора Ганченко. Но он предупредил меня, что встретит нас по пути.

Несколько минут спустя веселой гурьбой мы ввалились в трамвай, который, часто позванивая, понесся по наклонной улице.

— Где же Виктор? — беспокоилась Валя, выглядывая из трамвая на каждой остановке.

Наконец в трамвай прыгнул Виктор и сразу заговорил сочным баритоном:

— Здорово, хлопцы! А я тут жду вас давно — нет и нет. Думал, что прозевал. Хотел уж один ехать дальше, догонять вас, да вижу: Лека Длинный мотается в окне, руками машет, как мельница...

— А мы уже решили, что ты забросил авиацию! — сказала Валя, глядя на Виктора влюбленными глазами.— После того, как ты потерпел поражение на соревнованиях...

Действительно, на республиканских соревнованиях авиамоделистов, где Тимоха и Лека заняли первые места, Виктору не повезло: его модель из-за случайной поломки совсем не взлетела.

— Ну нет! Это мелочи жизни,— заявил Виктор, в глубине души все еще переживавший свою неудачу.— Запомни, Валюха: с сегодняшнего дня кабина планера станет моим родным домом! Ты еще не раз услышишь имя Виктора Ганченко — обещаю тебе! И если когда-нибудь в центральных газетах будет написано крупными буквами...

— Громко сказано! — перебил Тимоха, который терпеть не мог выспренних фраз и всегда останавливал Виктора, когда тот начинал «разводить патетику».

— Я знаю, Тимоха, что ты бы так не сказал,— стал оправдываться Виктор.— Но ты другого склада человек: ты сразу дело говоришь. Ну, а я... Мне сначала слово нужно — просто не могу без слов, понимаешь?

Но Тимоха не понимал. Нахмурившись, он демонстративно отвернулся и молча стал смотреть в окно.

— А знаете, хлопцы,— сказал Виктор, называя хлопцами всех, в том числе и нас, девчат,— когда мы с вами станем настоящими летчиками, у нас будет своя эскадрилья! Самым выдающимся летчиком среди нас будет, конечно, Тимоха, наш командир... И мы обязательно совершим групповой полет вокруг шарика!...

У Тимохи от удовольствия порозовели уши, но, верный своему принципу, он счел необходимым спустить Виктора с небес на землю.

— Ты что-то, Виктор, спешишь — сначала надо научиться летать! — усмехнулся он, на этот раз не рассердившись: идея группового полета пришлась ему по душе, а выражение «вокруг шарика» Виктор позаимствовал у Чкалова.

Короленко, разговаривавший со Славой, услышал последнюю фразу и покровительственно сказал:

— Об этом, ребята, не беспокойтесь — всех научу! Будете летать!

Он чувствовал себя всемогущим богом: от него зависело наше будущее...

Трамвай сделал круг, и мы вышли, очутившись на опушке соснового леса. Дальше тянулось песчаное поле, на котором кое-где возвышались холмы с пологими склонами.

— Здесь мы будем летать,— сказал Короленко и широким жестом хозяина обвел холмистое поле.

Поле было пустынно. Только редкие сосны, пара-

ми и лоодиночке, стояли в некотором отдалении от песа, будто отстапи от основного отряда деревьев и теперь слешили догнать его. Да еще виднелась крошечная хатенка, где жил сторож, и рядом с ней сколоченный из досок сарайчик с громким названием «ангар», в котором, ло словам Короленко, стояли два красавца лланера.

ЗАДНЯЯ ЦЕНТРОВКА

Первыми у ангара оказались Тимоха и Виктор. Когда лодошли остапьные, они уже сняпи с двери большой засов и открывали отчаянно скрилевшие створки.

— Проходите! — лригпасил Тимоха и сам вошел раньше всех.

Сарайчик был очень мап. Сквозь щели в стенах пробивались солнечные лучи, в которых кулались тысячи светлых лыпинок.

Перестулив лорог, мы замерли от восторга. Два старепьких, видавших виды планера, трогательно лрижавшиеся друг к другу, потрепанные, исцарапанные и в залпатах, локазапись нам лрекрасными, сказочными лтицами.

С минуту все стояли молча, лочти не дыша. Наконец Виктор медпенно погладил лыльное крыло планера и торжественно произнес:

— Вот она, моя мечта! Мечта, которую я давно носил в душе своей и которая...— Но, увидев, как мгновенно запылали уши у Тимохи, он осекся, лроглотив конец фразы, и обиженно протянул, глядя с укором на своего друга: — Вечно ты, Тимоха, леребиваешь... Никогда не дашь человеку высказать свои чувства...

Тимоха гневно сверкнул глазами, но тут Лека Длинный вовремя лредложип:

— Давайте его выкатим! Можно, товарищ инструктор?

— Выкатывай!

Облепив лпанер, мы лотащили его из ангара. Я крелко держапась за конец крыла и шпа рядом с планером, но почему-то лолучалось, что не я его тащипа, а, скорее, он меня...

Через каких-нибудь две минуты сероватый планер, когда-то выкрашенный в красивый серебристый цвет, уже стоял на бугре с распластанными крыпьями, готовый к взпету. Казапось, он давно ждал этого момента и теперь, выбравшись на волю после долгой зимней спячки, вздохнул полной грудью, набирая сипы, радуясь наступившей свободе.

Некоторое время Короленко, сощурив глаза, молча наблюдап, как ребята ощупывают ппанер со всех сторон, вытирают пыпь, трогают элероны. Выждав немного, он приказап ввернуть в землю штолоры, которые необходимы лри залуске планера в воздух.

Мы знапи, что, лоскольку никаких самолетов ипи других буксировочных средств у нас нет, лланер, не имеющий мотора, придется запускать в воздух с помощью амортизатора — просто выстреливать его, как из рогатки, натянув амортизатор своими же сипенками. Штолоры тем временем должны удерживать планер на земле с помощью троса, зацеппенного за крючок на ппанере, пока не будет достигнуто достаточное для взлета натяжение амортизатора.

По команде инструктора пилот, сидящий в кабине, двинув рычаг, сбрасывает с крючка трос, и планер, ничем не удерживаемый, устремляется в воздух.

Наконец все было лриготовлено для взлета. Перед тем как сесть в кабину и продемонстрировать нам свое искусство, Короленко лриказап Тимохе лостроить груллу.

— Внимание! Сейчас я сдепаю два лолета, а вы смотрите и запоминайте. В первом попете я опробую лпанер. Во втором сдепаю то, что следом за мной должен будет повторить каждый из вас.

Все выглядепо очень лросто — это был совсем короткий лолет: взпет и лочти сразу же за ним посадка. Никаких разворотов — топько по лрямой.

Короленко осмотреп лланер и сеп в кабину, закрывшись ло пояс фанерным обтекатепем. Затем он подвигал рупями, проверяя их, и громко скомандовал:

— На амортизатор!

— Бери концы! — весело крикнуп Тимоха и сам взял один конец амортизатора.

Другой конец взяп Лека Дпинный. Все остапьные, разделившись на две груллы, тоже ухватипись за амортизатор и, натягивая его, двинулись гуськом, уходя от ппанера вперед и одновременно расходясь под углом в стороны. Таким образом, лолучапась «рогатка». Тимоха громко отсчитывап шаги.

— ...двадцать семь, двадцать восемь...

Тянуть становипось все труднее, мы пыхтели, все бопьше и больше накпоняясь вперед, упираясь ногами в сылучий песок, совсем как бурпаки, тянущие баржу. Туго натянутый амортизатор стремился отбросить нас назад, но мы упорно шпи дальше.

Наконец Коропенко подап команду:

— Внимание — сброс!

Он двинул рычаг, и трос, который удерживап ппанер на земле, соскопьзнуп с крючка. Освободившись, ппанер рванупся вперед. Бросив амортизатор, мы замерпи, набпюдая за полетом Коропенко

Вот ппанер взмыл кверху, набирая высоту, лпавно лерешел в горизонтапьный лопет и красиво полетеп над земпей. Сделав два разворота, Короленко лосадип его на ровной площадке между двумя лологими склонами. Мы лобежали к месту лриземпения и вопоком ло леску лритащипи лланер на старт.

— А телерь я сдепаю небольшой подлет.

Короленко снова сел в кабину.

И все повторипось. Тимоха, наш ведущий, громко считап шаги, а мы изо всех сип тянули амортизатор. Когда ппанер сеп, мы приволокпи его на бугор, весепо распевая «Дубинушку».

Теперь быпа очередь Тимохи. Пока Короленко давап последние указания перед лолетом, Тимоха стояп, накпонившись вперед, ложирая его гпазами, вытянув шею, и с нетерпением ждал команды садиться.

Он быстро усепся в кабине и с видом бывапого летчика уверенно лодвигап рулями, будто собирапся лететь уже в сотый раз.

Инструктор заметно волновался, и это было понятно: ведь лланер одноместный, и он не мог лететь со своим учеником.

Мы запустипи Тимоху и, забыв обо всем на свете, следили за его лолетом. Как и спедовапо ожидать, Тимоха выполнил его отлично. Когда лпанер лпавно сел, мы дружно крикнули «ура» и бросились к нему.

— Тимоха! Ты даже не лонимаешь, что ты совершил! — издали кричал Виктор.— Ты открыл новую эру...

— Ой, как ты замечательно лосадил его! Не хуже, чем инструктор! — восхищалась Валя.

Довольный собой, Тимоха не скрывал этого. Возбужденный, заглядывая мне в лицо, он объяснял, уговаривая, будто я отказывалась лететь:

— Ничего сложного — простой полет... Вот увидишь... Только ручку сразу от себя...

Следующим был Слава, за ним Лека Длинный. Оба выполнили полет хорошо. Потом в кабину села Валя, которая от волнения даже на земле стала делать все наоборот. Короленко хотел ее высадить, но она уговорила его. В воздухе Валя опять растерялась и перед самой посадкой двинула ручку управления не на себя, как полагалось, а вперед. Вместо плавного приземления планер под большим углом с силой ткнулся в землю, и Валя выпала из кабины вместе с фанерным обтекателем. Короленко накричал на нее, и, вконец расстроившись, она заплакала. Однако ей пришлось быстро успокоиться, потому что Короленко пообещал за слезы отчислить ее из группы.

Сестры Инна и Фаина слетали хоть и не блестяще, но весело: со смехом они садились в кабину, со смехом взлетали и, вылезая из кабины, бурно радовались, довольные полетом.

Наступила моя очередь. Я села в кабину, поставила ноги на педали, взяла ручку управления. Мне показалось, что я утонула в кабине. К тому же педали почему-то все время уходили из-под ног, так что мне приходилось вытягивать то одну ногу, то другую, доставая до них. Но об этом я решила не говорить, опасаясь, что инструктор не разрешит мне лететь.

— Натяги-вай! — крикнул Короленко.

Из кабины я видела, как идут, согнувшись в три погибели, ребята, как постепенно удлиняются обе половины амортизатора, слышала, как считает шаги Тимоха, поглядывая в мою сторону. И мне вдруг стало казаться, что я иду вместе с ними, вцепившись обеими руками в резиновый трос, а в кабине планера сидит кто-то другой, и сейчас этот другой должен будет подняться в воздух, а я с земли увижу все это...

Но вот прозвучала команда, и я послушно отцепила трос.

Планер рванулся вперед и сам поднялся в воздух, а я отжала ручку от себя, чтобы нос не задрался слишком высоко, иначе упадет скорость и планер просто грохнется на землю. Однако нос почему-то по-прежнему лез вверх, и мне пришлось двинуть ручку еще дальше, до упора. Нет, ничего не помогало — планер явно не хотел слушаться... Неужели я делала что-то не так?..

Я бросила взгляд вниз — до земли было довольно далеко, потому что бугор остался позади и теперь планер находился над впадиной между холмами. Скорость быстро падала, и я с ужасом ждала, что же будет дальше, не зная, что предпринять. А дальше планер «посыпался» вниз и начал опускать нос, уже почти не имея скорости... К счастью, подоспел склон соседнего холма и высота падения оказалась не так уж велика. Удар о землю хоть и был сильным, но не настолько, чтобы его нельзя было перенести с достоинством.

Вылезая из кабины, я старалась незаметно растереть рукой ушибленное колено. Нога болела, и я осталась стоять, опершись о планер. Ребята уже бежали ко мне со всех ног, и впереди всех Тимоха.

— Ты что же, Птичка... Не ушиблась?

Подошел Короленко, молча постоял, уперев руки в бока, оглядел меня критически с ног до головы. Потом вздохнул и, улыбнувшись, как мне показалось, насмешливо, сказал так, словно знал заранее, что я не справлюсь и дело кончится именно этим:

— Ну?

— Я все делала так, как надо!..

Ожидая, что сейчас он начнет разносить меня, я уже приготовилась возражать, но он только спросил совершенно спокойно:

— Ты сколько весишь?

От неожиданности я стала заикаться.

— Н-не знаю... К-кажется, сорок семь...

— Сорок се-емь?! — протянул он не то возмущенно, не то презрительно.

Я густо покраснела, словно меня уличили в чем-то предосудительном, и сразу почувствовала рукой локоть Тимохи, который стоял рядом, ощетинившись, глядя на инструктора немигающими глазами. Мне даже показалось, что сейчас он бросится на него с кулаками.

— Все ясно,— продолжал Короленко.— Центровочка... Весу маловато, поняла? Задняя центровка получается, вот нос и задирается! Куда же с таким весом летать — разобьешься!

Я растерялась: как же быть? Значит, и летать теперь нельзя? Не могу же я так сразу прибавить в весе!.. Да и не получится у меня...

— Эх, Птичка...

Виктор произнес это укоризненно, будто я нарочно не хотела добавить себе весу. Тут Тимоха не выдержал и горячо вступился за меня, воскликнув с возмущением и даже с угрозой:

— Ну при чем тут она! Вес, вес... Разве только в весе дело?

На лицах у всех были написаны жалость и сочувствие, ребята смотрели на меня, как на обреченную, будто жизнь моя на этом обрывалась.

— Вот так,— произнес неопределенно Короленко и сделал шаг в сторону, как бы считая разговор оконченным.

Я готова была расплакаться от обиды, и первая горячая слеза уже медленно поползла по моей запыленной щеке, как вдруг Лека Длинный почесал затылок и с сожалением сказал:

— Вот так петрушка! Хоть камни в кабину клади... Камни!..

А, может быть, и в самом деле камни? Хотя, конечно, камни — это не годится: смешно, некуда, да и никто не разрешит. Но все-таки... И вдруг мне в голову пришла счастливая мысль!

Лицо у меня сразу посветлело, слезы высохли, и я почувствовала прилив радости, так что Тимоха спросил удивленно:

— Ты чего это... радуешься?

Действительно, радоваться пока было нечему. Но, чувствуя, что выход найден, я улыбнулась:

— Ни-че-го!

На следующий день, к общему удивлению, я приехала на планерку в отличном настроении. Отойдя в сторону от ребят, я развернула аккуратно сложенный мешочек, который накануне вечером сшила мне мама, и с невозмутимым видом стала набивать его песком.

Откровенно признаться, я, конечно, боялась, что надо мной будут смеяться, но желание летать было так велико, что я согласна была перенести любые насмешки, только бы меня оставили в планерной школе.

И я стала летать с мешочком, добавляя себе, таким образом, около восьми килограммов весу. Этого было достаточно для того, чтобы планер слушался меня и не задирал нос тогда, когда это совсем не требовалось.

Очень скоро все привыкли постоянно видеть меня с мешочком, и никому не приходило в голову посмеиваться надо мной, тем более, что Тимоха всегда был на страже.

Полеты на планере стали главным моим увлечением. Обычно они были короткими: редко удавалось попасть в восходящий поток и парить продолжительное время. Но и за те несколько минут полета над землей я всегда переживала непередаваемое словами чувство приподнятости и праздника.

ПРЫЖОК С ВЫШКИ

Однажды, когда мы всей гурьбой возвращались домой после полетов, Виктор предложил:

— А ну, братва, пошли прыгать с парашютной вышки! Это так здорово — дух захватывает! Сердце уносится высоко в синее небо, и такая радость клокочет в груди, что словами невозможно передать. Об этом можно только петь...

— Чего там у тебя клокочет? — лениво отозвался Лека Длинный.— Подумаешь, вышка! Шагнул — и уже на земле.

— Ты, Длинный, помолчал бы! — возмутился Виктор.— Ты же понятия об этом не имеешь, а я уже прыгал, понятно?

У Тимохи мгновенно заблестели глаза, порозовели оттопыренные уши. Как это Виктор успел раньше него? И почему не позвал на вышку своего лучшего друга?

— Прыгать? — переспросил громко Тимоха, делая вид, что ничуть не обижен.— Конечно, пошли! А высота какая — метров пятьдесят будет? Или меньше?

Он посмотрел на меня выжидательно, как будто вопрос его относился ко мне и я должна была знать высоту вышки. На самом же деле Тимоха просто беспокоился, не струшу ли я. Мне стало обидно, и я отвернулась от него.

— Может, и будет,— с сомнением ответил Виктор.

Сунув руки в карманы брюк, Лека презрительно сказал:

— Да что я, из детского сада, что ли! Вот с самолета бы другое дело!

— Придет время — будем и с самолета! — убежденно сказал Виктор.— Между прочим, говорят, что с вышки прыгать страшнее, чем с самолета. Это я от летчиков слышал.

Слава, который до сих пор только слушал, улыбаясь, мягко произнес:

— Начнем, Лека, с вышки. Выбора нет. Да и неизвестно еще, придется ли нам прыгать с самолета. Уж, во всяком случае, не всем.

Он умолк и, пожав плечами, улыбнулся своей мягкой, обаятельной улыбкой, словно извинялся, что в его планы не входило ни стать летчиком, ни заняться парашютным спортом.

— Ну, хватит рассуждать! Решили — так идем! — категорически заявил Тимоха, словно отдал приказ.

Когда в разговор вступал Слава, Тимоха начинал нервничать. То ли он не мог примириться с тем, что у Славы есть то, чего не хватало ему, Тимохе,— врожденной интеллигентности, внутренней культуры,— то ли его оскорбляло отношение Славы к полетам — просто как к очередному виду спорта, в то время как Тимоха и другие ребята мечтали стать профессиональными летчиками; во всяком случае, Тимоха чувствовал к Славе антипатию и часто не мог даже скрыть ее. К тому же он считал, что Слава непременно должен был нравиться мне, и это, вероятно, было главной причиной его недружелюбного отношения к Славе.

Быстро наклонившись ко мне, Тимоха спросил:

— Ты как, Птичка, прыгнешь?

— Конечно, прыгну! Но только в том случае, если кто-нибудь столкнет меня с вышки!

— Ну, за этим дело не станет — предлагаю свои услуги! — вмешался Виктор.— А могу даже сбежать вниз и там поймать тебя!

— Не успеешь!

— Не успею? Да ты же зависнешь между небом и землей!

— Факт! — подтвердил Лека.— С таким-то весом...

— А у тебя есть мешочек с песком! — с радостью подсказала мне Валя.

В центре парка у деревянной вышки змейкой стояла очередь. Желающих прыгнуть оказалось не так уж мало. Мы к ним присоединились и, задрав головы, стали наблюдать, как с небольшой площадки на самом верху вышки один за другим прыгают любители острых ощущений.

Большой белый купол, наполнившись воздухом, уверенно опускал каждого на землю. Одни прыгали бойко, без всякой боязни, даже выкрикивали что-то при этом или пели, другие опускались с напряженными, каменными лицами, вцепившись в стропы и боясь шевельнуться, третьи, вконец перепуганные и бледные, отходили, шатаясь, от вышки и долго еще не могли понять, как они могли решиться на такой шаг. Были и такие, кто, поднявшись наверх по винтовой лестнице, спешил поскорее спуститься тем же путем.

Подошла наша очередь, и мы друг за другом стали подниматься по деревянным ступенькам. Впереди шел Виктор, за ним я, потом Валя и остальные.

Я уверенно шагала вверх, и доски, которые изредка поскрипывали под ногами, казались мне прочными и надежными, а широкая у основания конусообразная вышка выглядела фундаментальной, крепко сколоченной. В просветы между ступеньками видна была зеленая трава, постепенно уходившая все дальше вниз. Но по мере того, как земля отдалялась и вышка становилась более узкой, я все чаще замечала, что доски, по которым я ступала, уже совсем старые, выщербленные и неприятно скрипят, потому что плохо прибиты, что щели между ними слишком велики, а тонкие перила, за которые я ухватилась, изрядно шатаются и чего доброго вот-вот рухнут совсем. Поверхность перил была гладкая, отшлифованная множеством рук, и я подумала, что вышка, видимо, построена очень давно и скоро развалится. Пожалуй, на нее и взбираться опасно...

В этот момент раздался пронзительный крик девушки:

— Ой, мама! А-а-а!

Вздрогнув, я невольно остановилась. Сердце тоскливо сжалось. Мне показалось, что с девушкой что-то случилось: может быть, она оступилась и упала с вышки...

Кто-то громко засмеялся, и от этого смеха мне стало жутко. Но все было спокойно, а девушка благополучно приземлилась. Я оглянулась: Валя, вся раскрасневшись и сияя от радости, смотрела на меня снизу блестящими глазами.

— Ты чего? Тимоху ищешь?

Я молча кивнула, хотя о Тимохе и не думала.

— Он там, внизу остался. Сказал, что будет прыгать последним. Тебя, видно, будет ждать!

Нет, я просто трусиха — все меня пугает. Вот не боится же Валя! И я, взяв себя в руки, снова зашагала вверх, стараясь думать о чем-нибудь постороннем.

Наверху гудел ветер, раскачивая вышку. Площадка, откуда предстояло прыгать, оказалась неболь-

шим пятачком — еще меньше, чем можно было предположить, и я осторожно подвинулась к центру, боясь сделать лишний шаг, чтобы не свалиться вниз раньше времени.

Валя, не чувствуя никакого страха, подошла к самому краю и, взявшись за перила, ахнула:

— Посмотри, Наталка, как высоко! Я думала, будет ниже. Да ты подойди, посмотри вниз!

Я хотела сделать шаг, но мои ноги словно приросли к полу.

— Я лучше здесь...

— Да ты не бойся, давай руку!

С большим трудом передвигая чугунные ноги, я заставила себя приблизиться к краю площадки и взглянуть на землю.

От высоты сразу закружилась голова, но я, вцепившись в перила, продолжала стоять и смотреть вниз. Земля была далеко и в то же время совсем близко. В голове назойливо завертелась мысль: а вдруг купол не успеет наполниться воздухом? Глупо, такого случая еще не было... Люди внизу выглядели крошечными и странно плоскими, с большими головами. Если купол не наполнится, тогда... Нет, прыгать мне совсем не хотелось, и я попятилась.

Заметив мое состояние, Валя, ободряюще улыбнувшись, похлопала меня по спине.

— Наталка, держись! Тебе надо сразу же прыгать! Понимаешь — сразу!

Потеряв дар речи, я замотала головой, но Валя стала легонько подталкивать меня в ту сторону, где на крюке уже болтался обвисший, словно неживой, парашют.

— Давай начинай первая! — сказала она.

Я затопталась на месте, надеясь, что вдруг произойдет чудо и прыгать мне не придется. Но чуда не произошло.

— Следующий! — Высокий парень, который здесь распоряжался, уже протягивал мне подвесную систему парашюта.

Почему-то мне бросилась в глаза голубая футболка, которая была на нем, и развязавшийся черный шнурок у воротника. Шнурок был продет только в одну петлю и еле держался.

Я подумала, что здесь, на вышке, где ветром продувает каждого насквозь, ему холодно в одной футболке. Надо бы завязать этот шнурок...

— Надевайте! — коротко бросил парень.

С ужасом смотрела я на несколько скрепленных ремешков, которые он держал в руках.

Заученным голосом, не глядя на меня, парень произнес:

— Сюда, поближе! Давайте руку. Теперь другую. Вот за эти лямки держитесь...

Голубая футболка приблизилась ко мне, и я почти уткнулась в нее носом. Прямо перед глазами болтался длинный конец шнурка. Надо бы завязать...

Парень быстро застегнул замок, увидел мое бледное лицо и улыбнулся:

— Да вы не бойтесь — это же раз плюнуть! Вот увидите — понравится! Во время приземления ноги держать вместе, чуть согнуть. Ну — пошел!

Перед прыжком я на мгновение зажмурила глаза, потом открыла и посмотрела на землю: на том месте, где мне предстояло приземлиться, стоял Тимоха и, задрав голову, ждал меня.

— Прыгай, Птичка, не бойся! — крикнул он.

Стоявшие в очереди оживились и тоже стали кричать:

— Эй, птица! Воробей! Ворона! Прыгай же!

И я прыгнула, вернее, шагнула куда-то в пустоту, правда, не без помощи парня, который слегка подтолкнул меня. В первый момент, когда я, потеряв под ногами опору, понеслась вниз, у меня перехватило дыхание. Сердце словно застряло где-то в горле, мешая вздохнуть, и я, как рыба, беззвучно открывала рот...

Но вот я, наконец, почувствовала собственный вес — это наполнился воздухом купол, который теперь надежно нес меня к земле. Сердце вернулось на свое место и начало бешено колотиться. Бурное, радостное чувство охватило меня, и теперь мне действительно показалось, что я на крыльях уношусь в синее небо.

Земля качалась подо мной, как огромная океанская волна, то вздымаясь, то опускаясь: купол раскачивался, и меня болтало из стороны в сторону, так что деревья, вышка и небольшая извилистая змейка очереди оказывались то впереди, то сзади, то выше, то ниже. И все же я опускалась.

Но почему-то снижалась я очень медленно, так медленно, что едва замечала, как приближается земля. Я даже подумала, что права была Валя, когда напомнила мне о мешочке. Он и здесь пригодился бы...

Когда я находилась приблизительно на полпути к земле, кто-то из очереди, потеряв терпение, крикнул:

— Эй, воробей, а побыстрее нельзя?

До земли оставалось метра три-четыре, когда мне показалось, что я совсем зависла. Испугавшись, я стала беспомощно болтать ногами.

— За ноги хватайте ее, за ноги! А то она улетит вверх! Тяните за ноги скорее! — крикнули из очереди.

Какой-то рыжий верзила лихо подпрыгнул и почти коснулся моих пяток, но Тимоха решительно и вовремя оттеснил его мощным плечом, так что тот отлетел в сторону на несколько шагов. Наконец, ноги мои коснулись твердой почвы, и я почувствовала, что меня держат крепкие руки Тимохи.

— Поздравляю, Птичка Все прекрасно,— сказал он, видя, как я смущена тем, что мой спуск прошел не совсем гладко и спокойно.— Отличный прыжок!

Я засмеялась. Ко мне снова вернулось чувство радости, которое появилось еще в воздухе. Ну, конечно же, все прекрасно!

— А знаешь, Тимоха, прыгать приятно. Мне очень понравилось. Честное слово!

КОНЕЦ ПЛАНЕРКИ

Стояла сухая теплая осень, и до середины октября мы летали. Но вот наступил день, когда Короленко предупредил нас:

— Через три дня буду принимать зачет. Пора сворачиваться. Мы и так затянули сроки.

Планерка закрывалась. Короленко уходил в отпуск.

Прошло несколько дней. Последний раз отлетав на планере, который верой и правдой служил нам все лето, мы заперли его в ангар и распрощались с инструктором.

Когда веселый красный трамвайчик примчал нас в город, мы вышли и остановились в нерешительности: никому не хотелось домой. И мы все вместе побрели по Крещатику, залитому вечерним солнцем. Уже совсем пожелтели каштаны, длинными рядами выстроившиеся вдоль тротуара, и деревья в светлом уборе выглядели празднично, нарядно. В окнах горели отблески заката.

— Зайдем сюда, что ли?

Лека Длинный мотнул головой в сторону кафе, где над дверью рядом с надписью «Мороженое» на вывеске была нарисована чаша с дымящимися шариками. Не долго думая, прямо в рабочей одежде, в спортивных тапочках, запыленные, мы ввалились в чистенькое кафе и, сдвинув два столика вместе, заказали мороженого. Комната была большая, светлая и уютная. Мягкие оранжевые лучи солнца освещали зал, падали на люстру, и казалось, что это горит электричество.

Было грустно от сознания, что предстояло расстаться, что вместе собрались мы уже в последний раз. Не будет больше ни песчаных холмов, через которые мы волокли планер, ни дружной «Дубинушки», ни жесткого амортизатора, от которого на руках мозоли, ни старенького планера...

— Ну вот, братва, и конец нашей планерке,— задумчиво произнес Виктор.— Хорошо было вместе. А теперь разбредемся кто куда.

— Почему? — встрепенулся Тимоха.— Разве ты в аэроклуб не собираешься? Мы же решили!

— Факт! — подтвердил Лека.

Виктор не ответил, а отвернулся и рассеянно уставился в окно. Потом как-то сразу, словно решившись, шумно вздохнул и, скользнув по нашим лицам большими печальными глазами, неожиданно поднял над столом левую руку.

— Ты чего? — не понял Тимоха.

Поставив локоть на стол, Виктор посмотрел на свою руку так внимательно, словно видел ее впервые.

— Видишь? — Он резко выпрямил пальцы — один, указательный, остался согнутым под прямым углом. Похоже было, что Виктор нарочно не разогнул его.

— Когда-то в детстве сломал, вот так он и остался на всю жизнь.

— Так это же чепуха! — воскликнул Тимоха.— Можно и без него — левая же! А ручку управления нужно держать правой!

— Факт. Да если бы и правая, все равно ничего,— убежденно сказал Лека.— Подумаешь — палец!

— Ты, Виктор, не обращай внимания на это! — посоветовала Валя и сразу умолкла, сообразив, что дело совсем не в том, как сам Виктор относится к этому.

— Чепуха...— повторил Тимоха, но уже не так уверенно, а скорее для того, чтобы убедить самого себя.

И все замолчали, вдруг поняв, что даже такой пустяк может сыграть решающую роль в судьбе человека.

Виктор по-прежнему держал руку на столе и разглядывал указательный палец, словно ждал, что вот сейчас он, наконец, разогнется...

— Я тоже думаю — чепуха,— медленно произнес он.— И совсем не замечаю. Привык. А вот медицинская комиссия так не думает.

— А ты что, уже узнавал? — спросил Тимоха.

Виктор кивнул и спрятал руку под стол.

— Вот такие дела, хлопцы. Не так все просто в этом мире. Но планеры я не брошу! Когда-нибудь и до самолетов доберусь — торжественно обещаю! Провались я на этом месте, если не добьюсь того, что задумал...

Он говорил преувеличенно бодро и весело, но голос подводил Виктора: сегодня его мягкий, чистый баритон был с хрипотцой, а на лице оставалось грустное выражение даже тогда, когда он смеялся.

— Станете вы летчиками. Отличными. Знаменитыми...

И Виктор, как всегда, начал мечтать вслух. Но, что бы он ни говорил, какие бы красивые и высокие слова ни употреблял, Тимоха ни разу не остановил и не упрекнул его.

— Тимоха возглавит экипаж и совершит небывалый полет в стратосферу... Или поставит рекорд продолжительности полета на первоклассном скоростном самолете. Лека будет у него правым летчиком, а Птичка...

Он умолк, и все, как по команде, посмотрели на меня. До сих пор я еще не решила твердо, хочу ли стать профессиональным летчиком и следует ли мне идти вместе с остальными в аэроклуб, чтобы потом остаться в авиации. Конечно, мне и на самолете хотелось бы научиться летать, но я помнила о мешочке...

Сейчас ребята ждали от меня ответа.

— Ты пойдешь с нами, Птичка? — спросил Тимоха.

И я почувствовала, что он затаил дыхание в ожидании моего ответа: ему так хотелось, чтобы я согласилась.

— Сейчас девчат не очень-то берут,— тихим голосом сказал Виктор.— В прошлом выпуске было всего две девчонки. Но, принимая во внимание особые данные...

Виктор слабо улыбнулся, а Валя, не поняв шутки, быстро подхватила:

— Мы же все-таки летали! Должны ведь они учесть планерку! Правда, Натка? Не могут нас не взять!

Валя, которая страстно хотела научиться летать на самолете, чтобы потом стать военным летчиком, верила в свою счастливую звезду. Посмотрев на Виктора, который сидел, понурив голову, словно приговоренный к казни, я просто из солидарности сказала:

— Да меня не возьмут. Так что об этом и говорить не стоит.

Я и в самом деле была почти уверена, что медицинская комиссия, которая придиралась к малейшему пустяку, забракует меня: вес малый, да и рост тоже не ахти какой.

У Виктора дрогнули брови, и он с удивлением поднял на меня глаза, видимо, не понимая, как это я могу еще колебаться и раздумывать, идти ли мне в аэроклуб, если есть возможность поступить туда. И с укором произнес:

— Эх ты, Птичка! Тебя еще уговаривать нужно...

И тогда я поспешила согласиться, чтобы никто не подумал, будто я ломаюсь:

— Ну, конечно, я попробую. Может быть, примут.

Мы вышли на улицу. Возбужденные, полные взаимного расположения и доверия, чувствуя на сердце какую-то особенную теплоту, которая обычно появляется у друзей перед расставанием, мы побрели по Крещатику, пересекли один парк, потом другой и очутились на высоком берегу Днепра. Здесь, на кручах, устроившись на поваленных ветром стволах акаций, мы долго сидели все вместе и пели.

Солнце зашло, на верхушках дубов погасли оранжевые огоньки заката, и только небольшая группа кудрявых тучек, неподвижно застывшая высоко в небе, еще некоторое время серебристо светилась. Но постепенно и эти тучки потемнели, стали серыми.

Пел главным образом Виктор, а мы слушали и подпевали ему. Он пел родные украинские песни — о Днепре, о несбывшейся мечте, пел песни на слова Шевченко.

Его сильный голос легко и свободно плыл над крутыми прибрежными холмами и замирал где-то вдали, сливаясь с бескрайним простором за могучей рекой.

— Хорошо ты поешь, Виктор,— сказала Валя.— Заслушаешься...

— Тебе бы в консерваторию. Учиться,— поддержала я Валю.— У тебя талант!

Он и сам понимал, что ему прямая дорога в консерваторию. Но авиация... Она не давала покоя. Чего бы он ни отдал, чтобы стать летчиком!

...Пройдут годы. Много лет, вероятно, двенадцать. И однажды я увижу Виктора в Москве, куда он приедет специально для того, чтобы поступать в труппу Большого театра.

К тому времени, когда он как-то вечером ввалился ко мне и своим звучным голосом сказал: «Ну здравствуй, Птичка! Не ожидала?» — Виктор, окончивший после войны консерваторию, был уже известным певцом. Однако он успел многое и в авиации: летал на различных самолетах, был чемпионом страны по планерному спорту, имел мировые рекорды.

Но с Большим театром договориться он не смог.

— Понимаешь, не повезло. Не нужны им баритоны, своих хватает. Вот если бы тенор или бас...

И Виктор продолжал петь в Киеве, был солистом филармонии. Давал концерты. А еще — летал... Без этого он не мог.

Но все это будет потом, двенадцать лет спустя...

Сгущались сумерки. Затуманился горизонт, с реки потянуло прохладой. Виктор умолк и потом сказал так, словно его слова были продолжением песни:

— Вот и первые звезды показались на небе. А где же она, моя звезда?

Никто ему не ответил. Мы находились под впечатлением его песен и боялись проронить слово.

Отсюда, с прибрежных высоток, видна была низкая часть города.

В потемневших домах стали зажигать огни — с каждой минутой становилось все больше и больше освещенных окон.

Валя предложила спеть «Любимый город», песню о родном городе.

Когда песня кончилась, опять наступила тишина. И вдруг в тишине раздался голос Тимохи:

— А ведь будет война, ребята...

«Война»... Слово это резануло слух. Мы все замерли...

Вероятно, Тимоха слышал что-нибудь от своего отца, который был кадровым военным, занимал высокий пост и, по-видимому, знал что-то такое, чего не могли знать другие. Да и мой отец, работавший в штабе Киевского военного округа, все чаще поговаривал о том, что события, развивающиеся в мире, неизбежно приведут к столкновению с фашизмом. Все это понимали и готовились к тому, что придется воевать, но как-то старались не говорить об этом вслух. Два месяца назад, в августе 1939 года, был заключен договор о ненападении между Советским Союзом и Германией.

Всего через неделю после подписания этого договора фашистская Германия напала на Польшу и захватила бы ее целиком, если бы наши войска не поспешили вступить на польскую территорию и взять под свою защиту население Западной Украины и Западной Белоруссии. Теперь, после присоединения этих областей к Советскому Союзу, наша западная граница отодвинулась и непосредственными нашими соседями стали немцы... Гитлер открыто стремился к захвату новых территорий... Долго ли просуществует договор с фашистской Германией? Что нас ждет впереди?..

— Что ты, Тимоха! Какая война? — не выдержала Валя.

Но Тимоха, который не бросал слов на ветер, упрямо повторил:

— Будет война. С фашистами.

Спустя месяц после этого разговора началась финская война. Но это была малая война, длившаяся три с лишним месяца. А еще через год с небольшим разразилась та самая большая война, о которой говорил Тимоха. Война с фашистами...

В АЭРОКЛУБЕ

В аэроклуб меня приняли, и я вместе со своими друзьями по планерке несколько месяцев дважды в неделю ходила на занятия. Мы изучали самолет У-2, на котором нам предстояло летать, аэродинамику, наставления по полетам — словом, занимались теорией.

Так продолжалось до апреля. А когда подсохла земля и ожил аэродром, мы стали ездить за город, в Святошино, где находился аэроклуб. Летать начали не сразу. Сначала некоторое время тренировались на земле, учились управлять самолетом.

Я попала в группу, где инструктором был Касаткин, бывший военный летчик. Небольшого роста, в летной форме с голубыми петлицами, на которых поблескивали два кубика, он держался очень прямо и говорил с нами уверенно и несколько свысока.

— Сначала научитесь мыть самолет, протирать мотор, чтобы машина почувствовала, что вы ее любите. Тогда она всегда будет вас слушаться,— повторял он.— И не бойтесь испачкать свои ручки...

И хотя он избегал при этом смотреть в мою сторону, я чувствовала, что последние слова он адресовал мне, единственной девушке в его группе. Мы усердно терли ветошью замасленный мотор, мыли и натирали до блеска весь самолет.

Мой первый полет с инструктором прошел не совсем гладко. Когда самолет, пробежав по земле, оторвался и я ощутила мягкость полета, я услышала резковатый голос Касаткина:

— Что смешного увидела?

Вероятно, я улыбнулась — мне всегда было приятно и радостно чувствовать, что я лечу. Мгновенно улыбка моя исчезла, и я нахмурилась: здесь, в самолете, нужно постоянно помнить, что я не одна, что в зеркальце, прикрепленное к левой стойке передней кабины, за мной наблюдает инструктор.

После второго разворота Касаткин спросил:

— Где посадочное «Т»?

Я показала. Мне захотелось взять ручку управления, и он, угадав мое желание, сказал:

— Попробуй сама! Следи за капотом...

Некоторое время я вела самолет, потом Касаткин отобрал у меня управление и, набрав высоту побольше, стал показывать мне фигуры высшего пилотажа. Сначала было интересно, но вскоре я почувствовала в желудке тяжелый ком, который медленно перекатывался, подбираясь к горлу... Я вцепилась в борта кабины, желая только одного — поскорее очутиться на земле.

— Что, довольно? — спросил Касаткин, увидев мое бледное лицо.

В ответ я выдавила жалкую улыбку.

На земле я, пошатываясь, отошла в сторонку и села на траву, подставив лицо ветру.

— Водички попьешь? — услышала я голос за спиной.

Это был Леша Громов из нашей группы. Он протягивал мне железную кружку с водой. Я сидела с несчастным видом, и говорить мне было трудно. Леша присел на корточки.

— Ну, тогда дыши поглубже. Давай вместе... Вдох!..

Он говорил со мной ласково, как с ребенком, и я послушно выполняла его инструкции. Стало легче.

— Ну, вот и прошло...

Леша улыбнулся, и я вместе с ним. Не хотелось, чтобы он уходил. Но вдруг я испугалась: что, если со мной всегда будет так, как сегодня?..

— Пройдет. Просто ты еще не привыкла,— спокойно сказал Леша.

После ознакомительного начались ежедневные полеты с инструктором по кругу над аэродромом, или так называемые полеты «по коробочке», потому что в действительности никакого круга не было, а летали мы по прямоугольнику с четырьмя разворотами на 90°. Мы учились не только водить самолет и чувствовать себя свободно в воздухе, но главным образом отрабатывали посадку, так как, в сущности, как бы ты хорошо ни летал, а основное — это сесть на землю...

Научившись летать по кругу и садиться, мы стали овладевать фигурами высшего пилотажа. Для этого Касаткин возил каждого «в зону» и там, забравшись повыше, заставлял повторять за ним виражи, мелкие и глубокие, штопор, боевые развороты и прочее. Теперь, когда я уже хорошо знала, как выполняется каждая фигура и как в это время ведет себя самолет, со мной больше не случалось того, что произошло в первом полете.

Дело шло неплохо, и Касаткин выпустил меня в самостоятельный полет одной из первых в аэроклубе. О том, что он собирается разрешить мне лететь самостоятельно, он меня не предупредил.

Накануне того дня, когда я впервые поднялась в воздух одна, без инструктора, Касаткин с особенным упорством и остервенением придирался ко мне.

— Ну, что это за коробочка! — кричал он по переговорному аппарату.— Ничего похожего! Какая-то египетская пирамида! Учишь-учишь — все в трубу! Почему газ не убираешь? К четвертому развороту подходим, а ты спишь!.. Доверни влево — ветер сильный! Царица египетская, проснись! Весь полет спит...

Наслушавшись его замечаний, я чувствовала себя бездарнейшим человеком, которого и к самолету подпускать нельзя.

Я уже решила, что летаю хуже всех и вообще меня следует отчислить...

— Что-то ты, маленькая, загрустила,— сказал Леша, видя, что я помрачнела.— В чем дело?

Последнее время Леша не отходил от меня, несмотря на то, что Тимоха злился. Я тоже тянулась к Леше и почти игнорировала Тимоху, который старался помешать нашей дружбе.

— Да неважно получается... Касаткин все ругает,— пожаловалась я.

— А я слышал, как он поспорил с командиром отряда, что выпустит тебя в первой пятерке.

Я не поверила Леше, подумав, что он просто хочет меня успокоить.

На следующий день, когда наш самолет вырулил на старт, Касаткин бросил мне небрежно:

— Ну-ка, садись в самолет!

Не очень охотно я влезла в кабину, ожидая, что и сегодня повторится вчерашнее. Однако в течение всего полета Касаткин не проронил ни слова. Я была удручена: видимо, дело настолько плохо, что никакие замечания не помогут.

Когда я посадила самолет, он молча вылез и посмотрел на меня уничтожающим взглядом. Я покраснела: вот сейчас перед всеми он и выскажется... Но он вдруг сказал:

— Давай сделай полет одна.

Я была ошарашена. Одна? И это после того, как он вчера разругал меня в пух и прах!

Первый самостоятельный полет... Я сижу в передней кабине, а сзади никого нет. Странное ощущение... Вырулив на старт, взлетаю, набираю высоту, делаю первый разворот, а мне все кажется, что не я, а кто-то другой управляет самолетом. И хотя много раз я все это делала без помощи инструктора, который только наблюдал за полетом, сидя в кабине, тем не менее я никак не могу отделаться от этого чувства.

Я лечу, и самолет слушается меня. Да-да! Он послушно выполняет все, что я хочу! И постепенно чувство удовлетворения, а потом и бурной радости охватывает меня. Я сделала горку, качнула самолет с крыла на крыло и стала выделывать какие-то непонятные фигуры, которые совсем не должна была делать. Я засмеялась и запела — хорошо! Как прекрасно жить на свете!

Прошло несколько дней. Вылетели самостоятельно Лека Длинный, Леша и еще два человека из нашей группы.

Иногда на аэродроме появлялся Виктор, которого неудержимо тянуло к самолетам. Сначала он только издали наблюдал, как мы летаем, стараясь никому не показываться на глаза. То, что его одного не приняли в аэроклуб, больно ранило Виктора, и он никак не мог примириться с этим.

Но вот однажды он подошел к нам. Мы окружили его, стараясь подбодрить.

— Не приняли в этом году, примут в следующем! — уверял его Тимоха, который так хотел верить в это.

— Я не теряю надежды — думаю, что добьюсь... Осенью, наверное, возьмут в армию: буду проситься в авиацию. Ты же знаешь, Тимоха, без крыльев я не могу!

— А сейчас что ты делаешь? — спросила я.

— Сейчас? Устроился пока на работу — веду кружок авиамоделистов и еще кое-что делаю в Доме пионеров. Полетываю на планере — Короленко разрешает...

Тимоха смотрел на друга немигающим взглядом и не знал, как помочь ему.

Виктор ушел расстроенный. Некоторое время он не приходил, но потом опять стал появляться и даже летал иногда за пассажира в задней кабине.

Это была напряженная пора — я заканчивала десятый класс. Ежедневно я вставала рано утром и мчалась за город на полеты, где проводила большую часть дня. Приходилось просыпаться в четыре часа, чтобы еще до отъезда просмотреть учебник, порешать задачи. В дни экзаменов я уходила с полетов раньше, чтобы успеть в школу, или же, наоборот, сначала спешила на экзамен и отвечала первая, а потом ехала на аэродром. Но ни разу за все это время я не пропустила полеты.

В июле, когда вся программа была выполнена, в аэроклуб приехала специальная комиссия, которая приняла у нас зачет по технике пилотирования. Эта же комиссия отбирала ребят для учебы в военных летных училищах.

Получив пятерку, я прибежала домой сияющая и показала маме свидетельство об окончании аэроклуба.

— Видишь, все хорошо! — похвасталась я. — И не нужно было так волноваться.

Мама вздохнула, поцеловала меня и призналась, что во время школьных выпускных экзаменов тайком ездила к начальнику аэроклуба и просила его отчислить меня.

— Ну, а он что? — спросила я.

— Сказал, что ты уже научилась летать и причин для того, чтобы тебя исключить, нет. Я его очень просила...

— Как же ты могла?

— Боялась, что трудно тебе: и экзамены и полеты... Когда я рассказала папе, он отругал меня. Ты ведь больше не собираешься летать?

— Н-нет, наверное, — сказала я, чтобы не волновать маму.

В конце лета все разъезжались: я собиралась в Москву, в авиационный институт, где надеялась не только учиться, но и летать в аэроклубе, а ребята — в летные училища. Сначала уехали Леша, Тимоха и другие ребята, которых направили в школу летчиков-истребителей. Многие были приняты в училище, которое готовило летчиков для бомбардировочной авиации.

ВОЙНА НАЧАЛАСЬ...

В августе я уехала в Москву, но не одна, а с моей школьной подругой Олей — подавать заявление в Московский авиационный институт. Раньше Оля об этом могла только мечтать: надо было заботиться о больной сестре. Но обстоятельства изменились, в Киев переехали ее тетка с мужем и все заботы об Олиной сестре взяли на себя.

Нас приняли без экзаменов, так как и у меня и у Оли в аттестате были одни пятерки.

Осень, зима и весна в Москве пробежали быстро. Мы с Олей учились в одной группе, на факультете самолетостроения, жили в общежитии. Как и в школе, занимались гимнастикой, продолжали стрелять.

В институте Оля училась лучше меня, она любила точные науки. Меня же не очень тянуло к ним, и только теперь, поступив в авиационный институт, я поняла, что совершила ошибку — надо было идти в гуманитарный: мне легко давались языки, я неплохо рисовала, пробовала писать стихи. С трудом я заставляла себя сидеть вместе с Олей в читалке и готовиться к контрольным, к экзаменам. Ноги сами несли меня в музей, в театр, в консерваторию...

— Ты просто спятила! — возмущалась Оля. — Ты же провалишься на экзаменах!

— Обещаю тебе — все будет хорошо, — успокаивала я ее. — Вот увидишь, завтра засяду...

Уже кончался учебный год, когда я, наконец, взялась за учебу по-настоящему. Пришел июнь — месяц экзаменов.

Я уже сдала три экзамена, как вдруг споткнулась на математике и получила двойку. Пересдавать мне разрешили только в самом конце сессии. Оля зверски ругала меня.

— Ну, что теперь делать? Эх ты... вертихвостка!

На каникулы в Киев мы собирались уехать сразу же, как только сдадим последний экзамен. В тот же день. Теперь поездка откладывалась из-за меня. Из-за моего «хвоста» по математике. Это был первый «хвост» в моей жизни. Он так и остался у меня навсегда, потому что избавиться от него я уже не успела...

Накануне последнего экзамена, когда я сидела в общежитии и лихорадочно решала задачи по физике, в комнату ворвалась Оля. Ее смуглое лицо было бледно, короткие волосы в беспорядке. Никогда еще я не видела Олю такой взволнованной.

— Галка, война!.. По радио... Включай!

Не двинувшись с места, я смотрела на нее ошалело, стараясь понять, о чем она говорит. Оля сама бросилась к репродуктору, резким движением включила его в сеть, и я услышала голос Молотова, сообщавшего, что Германия вероломно напала на Советский Союз...

Узнав, что рано утром немцы бомбили наши города, бомбили и Киев, я побежала на почту дать телеграмму домой. Вскоре получила ответ, что и у меня и у Оли дома все благополучно.

Шли первые дни войны. В Москве начались воздушные тревоги, сначала учебные. Надрывно гудели сирены, стреляли зенитки, ночью по небу шарили лучи прожекторов. От выстрелов зенитной батареи, стоявшей рядом с общежитием, дрожали стены, звенели стекла. С утра до вечера по радио передавали музыку — в основном марши. Сообщения с фронта не радовали: враг продвигался на восток, занимая наши города.

Немцы шагали по советской земле, по нашей родной земле. Это ни с чем не вязалось. Еще недавно мы пели, что «любимый город может спать спокойно» и «враг будет бит повсюду и везде»...

Теперь не могло быть и речи о том, чтобы ехать на каникулы. Какие каникулы, когда война!

— Слушай, Оля, — сказала я, — надо что-то делать...

— В самом деле, какого черта мы ждем!

И мы решили, что наше место на фронте. Мы уже строили планы, как действовать и что сказать в военкомате, чтобы нас взяли в армию. Но в военкомат идти не пришлось.

В первые же дни июля институтский комитет комсомола объявил, что комсомольцы МАИ поедут на трудовой фронт — рыть окопы на подступах к Москве. Как-то получилось так, что в суматохе никто не мог сказать точно, куда и на какое время мы едем. Было объявлено — на два-три дня. Но вместо двух дней мы копали два месяца...

Поездом мы долго ехали в сторону Брянска. Наконец, замедлив ход, поезд остановился. В окно я увидела пустынную платформу, за которой возвышалась стена леса. Здесь сошли мы, девушки. Ребята поехали дальше на запад.

Мы двинулись по лесной дороге. Вокруг высились огромные сосны, дубы, березы, реже — ели. Это был Брянский лес, который славился своей особой красотой.

Дорога привела нас к большому пионерскому лагерю, который был пуст: детей увезли в первые же дни войны. Теперь здесь был сборный пункт. Сюда прибывали студенческие комсомольские отряды из высших учебных заведений Москвы и, получив задание, отправлялись в различные районы Брянщины копать противотанковые рвы, строить оборонительные полосы.

Рядом с лагерем протекала небольшая речушка с берегами, заросшими ярко-зеленой травой. Мы разбрелись по лесу, собирая цветы, перекликаясь, в ожидании обещанного нам завтрака.

— Оля! Тут ландыши!

Я оглянулась: Оля уже раздевалась, чтобы войти в речку.

— Ты куда? Вода еще холодная! — воскликнула я.
— Это для тебя холодная!

Пробуя ногой дно, она входила в воду, такую чистую и прозрачную, что мне тоже захотелось искупаться.

Я прыгнула в речку, и мы, смеясь и радуясь чудесному утру, стали барахтаться в прохладной, бодрящей воде.

В это время где-то за лесом, невидимый, негромко загудел самолет. Оля подняла голову, прислушиваясь.

Гул усиливался, и вскоре мы увидели самолет, который не спеша пересекал голубой квадрат неба прямо над нашими головами. Он летел довольно низко, и я сразу определила, что это не наш самолет.

— Смотри — кресты! Свастика! — сказала я.

Мы впервые видели фашистский самолет.

— Разведчик,— негромко произнесла Оля.— К Брянску летит.

У меня засосало под ложечкой: вот она, война...

Самолет улетел, а мы еще некоторое время продолжали молча смотреть ему вслед.

После завтрака нам выдали новенькие лопаты, «орудия производства», с которыми мы уже не расставались в течение всего лета. Наш отряд, включавший несколько бригад, двинулся к месту назначения, где нам предстояло выкопать первый противотанковый ров длиной в несколько километров.

НА ТРАССЕ

Кубометры, кубометры. Земля, глина, песок. Сгибаешься, разгибаешься. Сначала, вогнав блестящее лезвие в грунт и набрав полную лопату, выбрасываешь землю подальше вперед. Потом постепенно опускаешься глубже, насыпь растет, вот она уже выше головы, и ты бросаешь землю вверх — все выше, выше, пока глубина рва не достигнет трех с половиной метров.

Чтобы не израсходовать силы в первые же трудовые часы, я подбираю определенный ритм работы и стараюсь не выходить из него. Все движения точно рассчитаны, ничего лишнего. Войдя в ритм, можно копать таким образом долго, не ощущая большой усталости. И только вечером, после работы, чувствуешь, как ноет окаменевшая поясница и как тяжело двинуть рукой,— будто держишь пудовую гирю...

Стояла жара, и мы работали раздетые почти догола — трусики и бюстгальтер, да на голове косынка или какой-нибудь лоскут. Единственное платье, в котором каждая из нас приехала из Москвы, приходилось беречь: должны ведь мы в чем-то возвратиться!

На трассе, протянувшейся на несколько километров, работали сотни девушек. Бригады соревновались между собой, и первый наш ров был готов раньше, чем намечалось. Дня через три мы собирались закончить и этот, чтобы копать такую же заградительную линию в другом месте. Мы знали, что эти оборонительные полосы должны были на какое-то время задержать продвижение вражеских танков. И с утра до вечера яростно копали. Копали и верили, что фашистские танки непременно застрянут в наших рвах, если вообще им удастся сюда прорваться.

До обеда оставалось еще полтора часа. Обычно в это время общий темп работы ослабевал: действовала жара, сказывалась усталость.

Но вот кто-то из девушек радостно кричит:

— Девочки, смотрите — Красотка едет! Наконец-то!

Действительно, вдоль трассы, временами останавливаясь, плетется Красотка. Она везет огромную бочку с водой для питья. Красотка — умная лошадка: на повозке никого нет, никто ее не погоняет, никто не говорит, когда и где остановиться,— она сама все знает. Золото, а не животное. Неопределенной масти, с большими печальными глазами под аккуратно подстриженной светлой челкой, она идет, понуро опустив голову, кивая в такт каждому шагу, тощая, низенькая, покорная. Мы любим Красотку, которая честно и добросовестно выполняет свою работу. Красотка это чувствует. Чувствует, как нужна нам, и от сознания этой своей необходимости полна собственного достоинства.

Для нас Красотка не только вода, но и случай на несколько минут оторваться от однообразной работы, хоть как-то переменить обстановку.

— Внимание! На абордаж! — кричит веселая Лена, с которой мы здесь подружились.

Она первая выскакивает из рва. Подбежав к повозке, сначала останавливается возле Красотки, ласково проводит рукой по морде, по шее лошади, и та, скосив на Лену умные глаза, приподняв большую влажную губу над крупными зубами, улыбается ей.

— Красоточка, бедная! Жарко тебе... Лошадка моя хорошая, сейчас я тебя угощу.

Она дает ей кусочек сахара, который специально оставила от завтрака,— половину своей порции.

Напившись воды, мы с новыми силами беремся за работу. Но не прошло и пяти минут, как в небе раздался звук мотора и два самолета на небольшой высоте выскочили из-за леска. Парой они стали набирать высоту.

— «Мессеры»,— сказала я.— Что-то, наверное, задумали...

— По-моему, они улетают,— возразила Лена.

Поглядывая на пару «мессершмиттов», которые, казалось, уходили дальше на восток, не обратив на нас внимания, мы продолжали копать: уже не раз узкобрюхие истребители, свободно разгуливая над трассой, кружили и снижались, рассматривая, чем мы занимаемся. И мы к этому привыкли.

Но «мессеры» не улетели, а, набрав высоту, стали разворачиваться и круто снижаться.

— Они пикируют! — воскликнула я.

— Зачем... пикируют? — спросила Лена, никак не предполагая, что самолеты могут обстрелять нас, безоружных девчонок.

— Расходись! — крикнула изо всей силы Оля.— Живо!

Бросив лопаты, мы кинулись врассыпную, падая на землю где попало, а истребители, спикировав на траншею и не сделав ни одного выстрела, круто, горкой, ушли вверх, только земля задрожала от рева.

— Пугают, проклятые... Порезвиться захотели, гады! — сказала Оля.

В это время громко и визгливо заржала Красотка, перепуганная ревом моторов. Став на дыбы, она дико озиралась, мотая головой, и вдруг бросилась вскачь прямо по полю куда глаза глядят. Повозка подскакивала на ухабах, громыхая, бочка качалась из стороны в сторону, расплескивая воду, пока не свалилась на землю, а Красотка, слыша за собой грохот повозки, еще больше пугалась и неслась неведомо куда.

— Красо-отка! — заорала Лена.

Она вскочила и, забыв обо всем на свете, хотела бежать к лошади, но я вцепилась в нее обеими руками и не пускала:

— Ленка! Куда?! Видишь — опять заходят...

— Дура! — крикнула Оля.— Лежи, тебе говорят!..

На этот раз «мессеры» выбрали своей мишенью Красотку и пикировали прямо на нее.

Рев моторов нарастал, а бедная Красотка, ошалев от гула, надвигавшегося на нее откуда-то сверху, заметалась и резко повернула назад, опрокинув повозку. Лошадь упала на колени и, безуспешно пытаясь встать, снова заржала дико и протяжно.

Но рев снижающихся самолетов заглушил ее ржание. Раздались пулеметные очереди, и Красотка, последний раз дернув головой, рухнула на землю и затихла.

— Ах, сволочи!..— со злостью выдохнула Оля.

Низко пролетев над трассой, истребители выпустили еще несколько пулеметных очередей и скрылись.

С тяжелым чувством, жалея нашу бедную Красотку, мы стали подниматься с земли, отряхиваясь, как вдруг услышали крик:

— Ох, девочки, Веру убили!.. Уби-ли...

Я оглянулась на крик. Метрах в пятидесяти от нас на земле неподвижно застыла девушка. Над ней уже склонились подруги, к месту, где она лежала, шли, бежали со всех сторон. Мы тоже подошли.

Девушка лежала на боку, согнув ноги и повернув лицо к земле. Длинная темная коса тяжело свисала с плеча. Под косой на затылке растеклось кровавое пятно: пуля попала прямо в голову, и смерть наступила, видимо, мгновенно.

Все молча стояли, окружив убитую, и не знали, что делать. Я впервые так близко видела мертвого человека, и у меня было странное ощущение нереальности всего происходящего. Казалось, вот сейчас девушка встанет и, забросив косу за плечо, с удивлением скажет, обведя собравшихся глазами: «Что это вы тут столпились вокруг?..»

Девушку повернули лицом кверху, сложили ей руки на груди. Лена закрыла ей глаза и, сняв с себя косынку, прикрыла бледное заострившееся лицо. Потом тяжело вздохнула, постояла. Губы у Лены вспухли, под глазами оставались грязные разводы. Сипловатым голосом она произнесла, ни к кому не обращаясь:

— Я пойду туда...

И она зашагала дальше, к тому месту, где в поле одиноко лежала Красотка...

УХОЖУ В АРМИЮ

Все чаще летали над нами вражеские самолеты. По ночам слышны были глухие взрывы. В небе вспыхивали зарницы...

Среди ночи я проснулась от шума. Это был гул, низкий, непрерывный, который постепенно усиливался. Казалось, что гудит земля.

С тревожным чувством кинулась я будить Олю, но ее не оказалось рядом. Не было и Лены.

Отодвинув плохо прибитую доску сарая, я выглянула: начинался рассвет, все кругом было еще серым, неясным, и только небо, уже начинавшее бледнеть, зеленовато светилось на востоке.

Гул нарастал с каждой минутой, и теперь я совершенно ясно различала, что доносился он с запада.

Выскочив из сарая, я увидела Лену, одиноко стоявшую в огороде. Чуть сгорбившись и зябко прижав руки к груди, словно пытаясь унять дрожь, она смотрела куда-то на запад.

— Лен,— позвала я негромко.— Что это гудит?

Но она даже не обернулась.

В полутьме я не сразу заметила Олю, которая, опершись о стенку сарая, неотрывно смотрела в том же направлении. Что-то они там видели... Я тоже стала вглядываться в сероватый мрак, но ничего не увидела, кроме туманной предрассветной мглы, скрывавшей горизонт, и темной тучи чуть повыше. Сердце дрогнуло: мне показалось, что в туче что-то шевелится... Нет, это мне, конечно, почудилось... Туча как туча, ничего в ней особенного...

Но я уже не могла отвести глаз от этого черного пятна — я уже догадалась, что это вовсе не туча, но все еще не могла, не хотела осознать до конца... Оно медленно ползло по сероватому небу, все увеличиваясь в размерах, и земля дрожала от низкого гула, который от него исходил.

Небо заметно светлело, и все яснее выступали на бледном фоне силуэты множества самолетов с распластанными заостренными крыльями. Армада бомбардировщиков двигалась на восток.

Мы стояли ошеломленные, подавленные и смотрели, смотрели вверх. А бомбардировщики все летели и летели, закрыв собой все небо, и было их так много, что, казалось, это могло происходить только во сне...

Когда прошел над нами последний строй и небо очистилось от темных силуэтов, мы все еще продолжали слышать этот страшный гул, только теперь он постепенно слабел. Но вот за дальним лесом растаял последний еле слышный звук, и стало тихо.

Мне было страшно.

— Ой, девочки, сколько их! А куда они? На Москву. да? — нарушила тишину Лена.

Никто не ответил. Все хорошо понимали, куда, но говорить об этом не хотелось. Молча мы поднялись к себе на чердак. Долго лежали, не произнося ни слова.

Наконец Лена сказала негромко:

— Они же все с бомбами...

Однажды после работы Оля сообщила:

— Пришло распоряжение срочно возвращаться в Москву. Выйдем в одиннадцать часов, после ужина.

Фронт приблизился настолько, что стало опасно находиться под Брянском. Город бомбили ежедневно, и было ясно, что скоро он будет сдан.

Наш последний переход мы совершали в темноте. Когда ночью вошли в город, кое-где после очередной бомбежки еще пылали дома, рушились стены. Низко над городом стлался багровый дым.

На станции стоял эшелон, который должен был увезти нас. Пришлось долго ждать, пока починят железнодорожные пути, разрушенные бомбами.

И вот мы едем. Лениво постукивают колеса, будто спешить некуда. Медленно уплывает вокзал, освещенный заревом пожара.

Вскоре, уставшие, мы засыпаем, сидя в тесноте.

Ритмично стучат колеса, и кажется, что они говорят: «Е-дем в Моск-ву... Е-дем в Мос-кву...»

Сидящая рядом со мной Лена во сне что-то бормочет, потом, застонав, вскакивает и кричит:

— Стреляют!.. Бежим!.. Бежим!..

— Успокойся, Лена, мы в поезде.

Я осторожно посадила ее на место и погладила по плечу. Сонная, она вздохнула и, медленно опустив тяжелые веки, положила голову мне на плечо.

Стучат, стучат колеса. «Е-дем в Моск-ву...»

На Белорусский вокзал поезд прибыл днем. Толкаясь, все высыпали из вагонов — вот она, Москва! За два месяца бродячей жизни мы совсем отвыкли от городского шума, от гудков машин, звона трамваев. Теперь, окунувшись в сутолоку города, обрадовались ей, нашей Москве. И были благодарны



за то, что она существует, что в ней по-прежнему кипит жизнь.

Вот и наш институт. Длинное приземистое здание с боковыми крыльями. И кирпичные корпуса общежития. Все на месте, никаких изменений, если не считать того, что вместо большой насыпанной клумбы напротив главного входа в институтское здание теперь глубокая воронка от бомбы. Стекла в окнах уже вставлены...

Сентябрь промчался быстро. Занятия, которые шли своим чередом, никого сейчас особенно не интересовали, тем более что учебный год только начинался. Субботники, воскресники... Нас постоянно куда-то «бросали»: то мы ездили на уборку овощей, то строили склады, то рыли окопы, делали песчаные дорожки и рисовали зеленые деревья на аэродроме, чтобы сверху, с воздуха, летное поле было похоже на парк...

Мы втроем, Оля, Лена и я, посещали школу медсестер, организованную в институте, совершали марши в противогазах, а я, кроме всего прочего, ходила еще и в походы по лесам Подмосковья.

Однажды, в начале октября, я вернулась из очередного похода, длившегося два дня. Переходя вброд лесную речку, я простудилась, и у меня поднялась температура.

— Ты что это такая красная? — встретила меня Оля, когда я вошла в комнату общежития.

Я устало опустила на пол рюкзак и повалилась на кровать. Не было сил даже раздеться.

Оля быстро раздела меня, сунула под мышку термометр и, как всегда, принялась ругать. Она не очень-то одобряла походы по лесу, считая, что сейчас это пустая трата времени. Зато в школе медсестер Оля была одной из лучших: быстрее всех могла сделать любую перевязку, наложить шину, перенести «раненого»...

Вынув термометр, она мрачно посмотрела на меня: оказалось — 38,2°...

— Ты полежи,— сказала Оля.— Я тебе чаю горячего дам.

Она поставила на плитку чайник, постояла возле меня нахмурившись и вдруг сказала:

— Институт на днях эвакуируется в Алма-Ату... Ты как? Поедешь?

Я поднялась и села на кровати, глядя воспаленными глазами на нее. Теперь я вспомнила, что, возвращаясь, заметила какую-то суматоху и беготню — в проходной толпился народ, все куда-то спешили...

— Нет, никуда я не поеду!

Об отъезде из Москвы не могло быть и речи. Зачем же тогда все эти походы, школа медсестер и прочее... Алма-Ата — это же тыл! Глубокий тыл... Конечно, для занятий хорошо...

Оля молча кивнула, потом, посмотрев на меня пристально, сказала:

— Там, знаешь, некоторые уходят в женскую авиационную группу. Набор идет сейчас, в ЦК комсомола... У нас в комитете дают комсомольские путевки тем, кто умеет летать или прыгать с парашютом...

Она замолчала, глядя на меня вопросительно и настороженно, а я, схватив одежду, стала лихорадочно одеваться.

— Пойдешь? — спросила Оля.

— Что ж ты сразу не сказала?! А ты, Оля?..— спохватилась я.

— Меня не отпускают. Куда-то в другое место пошлют... С группой сандружинниц.

Она отошла к окну и теперь стояла спиной ко мне, делая вид, будто ее что-то заинтересовало внизу, во дворе. Я поняла: сейчас решится наша судьба. Мне хотелось быть вместе с Олей, но так не получалось...

— А Ленка? — спросила я.
— Она со мной...
— Значит, я без вас?..
Одевшись, я уже стояла в дверях, готовая бежать в институт. Оля подошла ко мне. Вероятно, она надеялась, что и я останусь с ними... Я виновато опустила глаза.
— Ну, лети, пилот! А то не успеешь...
И она хлопнула меня по спине, прощая измену. А я, уже совсем забыв о своем горле и о температуре, помчалась со всех ног в институт, боясь опоздать.
Ровно через час, раздав подругам свои вещи, я с небольшим узелком и комсомольской путевкой ехала в центр, на Маросейку. Там, в ЦК комсомола, проводился набор девушек-комсомолок в авиационную группу, возглавляемую известной летчицей Мариной Расковой.

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ

Войдя в комнату, где заседала отборочная комиссия, я сразу узнала Раскову, которую видела только на снимках. Это была миловидная женщина с внимательными серыми глазами. Темные волосы разделены прямым пробором, тяжелый пучок сзади спрятан под берет. На ней была военная форма с голубыми петлицами, и на гимнастерке поблескивала Золотая Звезда Героя Советского Союза.
— Из МАИ? Летали когда-нибудь? — спросила Раскова, посмотрев мои документы.
— Окончила аэроклуб в Киеве.
Меня зачислили в штурманскую группу. Мне, конечно, хотелось быть летчиком, но летчиками брали только тех девушек, которые уже имели стаж летной работы.
Десять дней мы пробыли в Москве. Жили в Академии имени Жуковского. Каждый день сюда прибывали девушки из разных городов — летчики и техники из аэроклубов и гражданского воздушного флота, и наше авиасоединение разрасталось.
Нам выдали обмундирование, в котором мы все утопали. Огромные кирзовые сапоги, несмотря на плотные портянки, болтались на ногах, шинели волочились по земле, а из широкого ворота гимнастерок торчали худые девичьи шеи. Орудуя ножницами и иголкой, девушки быстро пригнали форму по себе, насколько это было возможно...
Я с интересом смотрела на опытных летчиц, которые были лет на пять-шесть старше меня, восемнадцатилетней девчонки, и держались уверенно и независимо. Для них не существовало непререкаемых авторитетов, и хотя они и прибыли сюда, в распоряжение Расковой, но еще, видимо, не до конца верили в то, что из всей этой затеи с женскими полками может выйти толк.
Приходилось слышать такие разговоры:
— Куда мы попали? Одни бабы... Думаешь, на фронт пошлют? Не очень-то мне тут нравится. Может, вовремя смыться?
Здесь были и студентки: из университета, МАИ, МАТИ, педагогического — девушки моего возраста, в основном с первого — третьего курсов, безоговорочно верившие каждому слову знаменитой Марины Расковой. А она твердо обещала, что мы будем воевать.
Морозным утром шестнадцатого октября сорок первого года я шагала в длинной колонне одетых в шинели девушек к Казанскому вокзалу. Нам пред-



стояло ехать в город Энгельс на Волге, в летную школу, где мы должны были пройти курс ускоренной подготовки, перед тем как отправиться на фронт. Шли пешком: метро, служившее москвичам бомбоубежищем, не работало.

На вокзале долго грузили в теплушки товарного поезда имущество: матрацы, одеяла, разную утварь, продовольствие. Только вечером эшелон отошел от вокзала: ждали темноты. Выли сирены, ревели заводские гудки: в Москве была объявлена воздушная тревога. Из вагонов-теплушек товарного состава мы смотрели на вечернее небо, исполосованное лучами прожекторов. Под грохот зениток мы покидали Москву. Из вагонов неслась песня:

Дан приказ ему на запад,
Ей — в другую сторону...

До Энгельса ехали девять дней. К месту расквартирования шли ночью, в дождь, по густой грязи. Под общежитие нам отвели несколько больших комнат, где тесно стояли двухэтажные железные койки, на них — жесткие матрацы, суконные одеяла.

Одним из первых приказов Расковой, которая командовала всем женским соединением, был приказ о стрижке. Никаких кос и локонов, всем — короткую мужскую стрижку.

Началась новая жизнь. Подъем — в половине шестого. Зарядка на улице, в предрассветной темноте. Целый день — занятия.

Зимой начались тренировочные полеты. На Волге держались сильные морозы — больше 30°. В открытой кабине самолета продувало насквозь, и, хотя мы надевали меховые комбинезоны, унты из собачьего меха, лицо закрывали шерстяным подшлемником, тем не менее обмораживали себе щеки, нос, руки. Ходили с коричневыми, загоревшими на морозном ветре лицами.

В феврале были сформированы три женских полка: истребительный, полк дневных бомбардировщиков и полк ночных бомбардировщиков. С этого момента каждый полк тренировался отдельно. В полку легких ночных бомбардировщиков, куда я попала, полеты проводились ночью. Нашим командиром была назначена Евдокия Бершанская, известная летчица, награжденная орденом «Знак Почета» за успешную работу в гражданской авиации. Мы летали на новеньких, только что полученных с завода самолетах У-2, которые были оборудованы как ночные бомбардировщики: на самолетах имелись бомбодержатели и прицелы.

Наступила весна.

Однажды командир полка собрала нас и сообщила:

— Скоро отправимся на фронт. Готовьтесь к большому перелету.

В мае 1942 года мы улетели на Южный фронт, в Донбасс. Здесь, в районе реки Миус и под Таганрогом, мы делали первые боевые вылеты...

...Девичий полк, в котором — ни одного мужчины. Многие не верили, что такой полк боеспособен, относились к нам критически. И мы сразу почувствовали это на фронте. Полные решимости утвердить свое право воевать, мы не просто выполняли боевые задания, летая бомбить врага, а прилагали все силы и умение, чтобы делать это не хуже мужчин. И мы добились своего: наш полк стал по-настоящему боевым. Нередко случалось, что именно нам, девушкам-летчицам, поручались самые ответственные задания, именно мы летали в плохую, даже нелетную погоду, когда того требовала обстановка. Все это было не так просто...

Прошел год. Осталось позади много фронтовых дорог — от Донбасса до Терека и от Терека до Кубани. Наш полк получил гвардейское звание. Лучшая летчица Дуся Носаль посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза — она стала первым Героем в женском полку.

К этому времени я уже летала в качестве летчика. Нас было четверо штурманов, которые окончили аэроклуб, но до войны не имели летного опыта. Мы тут же, на фронте, не прекращая полетов на боевые задания, прошли необходимую программу и, сдав зачет, стали сами водить самолеты ночью.

Кончилось лето 1943 года, наше второе фронтовое лето. Мы бомбили врага на Кубани и под Новороссийском.

...Ночь была безлунная, но звездная. Внизу чуть светлела излучина Кубани. Сегодня мы летели бомбить аэродром под Анапой, где базировались немецкие истребители. Задание было не из простых: аэродром защищен, вокруг него стояли прожекторы и зенитные пулеметы.

— Давай заберемся повыше,— предложила Нина Реуцкая, мой штурман.

Я согласно кивнула и стала набирать высоту. В гуле мотора появились высокие нотки — он работал на полной мощности. Голубоватые вспышки пламени из патрубков освещали тупые рыльца бомб, чуть видные из-под передней кромки крыльев,— четыре фугаски по пятьдесят килограммов.

— До цели пять минут,— предупредила Нина.— Доверни правее — развернемся потом влево и зайдем с курсом 100°.

Впереди левее мотора уже слабо проглядывали на земле контуры аэродрома. Отсюда немецкие истребители летали, чтобы штурмовать наш передний край, драться с нашими истребителями, сбивать бомбардировщики. Но сейчас, ночью, они стояли в своих капонирах и отдыхали.

Развернув самолет, я взяла боевой курс, сбавив газ. Высотомер показывал 1 400 метров. Сейчас включатся прожекторы — они могли вспыхнуть каждую секунду... Я вся напряглась — сколько я ни летала, а все никак не могла заставить себя спокойно переносить этот момент ожидания: мне всегда было страшно... Потом, когда начинался обстрел и положение становилось более определенным, бояться было уже некогда: я была слишком поглощена тем, чтобы выполнить задание и выбраться из обстрела.

— Так держи!—сказала Нина и бросила САБ [1] прямо из кабины.

Вспыхнув, светящаяся бомба озарила землю голубоватым светом, и стали отчетливо видны колечки капониров, расположенные дугой по краю аэродрома. Сразу же зажглись прожекторы — их было пять. Широкие лучи заскользили по небу. Я убрала газ до минимального, чтобы внизу не могли определить точно, где находится самолет. Планируя, поглядывала на капониры, в которых светлели маленькие самолетики.

— Видишь самолеты? — спросила я Нину.

Но ей уже было некогда: цель приближалась.

— Правее!.. Так! Сейчас брошу...

Самолет слегка качнуло — это отделились бомбы. Не теряя времени, я заложила глубокий крен, чтобы развернуться и взять обратный курс. Внизу раздались взрывы — серия бомб перекрыла капониры:

[1] САБ — светящаяся авиационная бомба.

четыре огненных вспышки со снопами искр. Во время разворота хорошо видно, куда падают бомбы.

Застрочили зенитные пулеметы — длинные очереди трассирующих снарядов брызнули фонтаном рядом с самолетом. Я продолжала планировать, лавируя среди лучей и трасс.

Высота быстро падала, но включать мотор не хотелось: если поймают, будет плохо — два крупнокалиберных пулемета посылали наугад пучки снарядов, стараясь пройтись по всему пространству над аэродромом...

— Левее, левее! — кричала мне Нина.—Справа трасса! Прожектор!

Я бросила самолет влево, потом глубоким скольжением ушла под луч, но в этот момент другой прожектор стал быстро наклоняться и уткнулся прямо в самолет, осветив его. К нему присоединились остальные, и мы очутились в перекрестье. И сразу вокруг замелькали огненные шарики трасс. Казалось, они прошивают самолет насквозь... Взглянув на прибор, я отметила: 600 метров. И резко дала полный газ: теперь, когда нас обнаружили, планировать не имело смысла.

Под обстрелом мы уходили от цели все дальше, и зенитчикам становилось все труднее вести прицельный огонь. Вот отключился один прожектор, погасли еще два, потом остальные. Стало темно. Прекратили стрелять и пулеметы. Я вздохнула свободно: ушли...

Некоторое время мы с Ниной летели молча: говорить не хотелось.

В эту ночь мы еще три раза летали на цель. Во втором полете нам удалось подорвать самолет: одна из бомб упала в капонир.

Утром, зарулив самолет на стоянку, мы позавтракали в столовой и, усталые, легли спать уже в девять. Стояла жара, спалось плохо, я много раз вскакивала: снились прожекторы...

Когда я встала и вышла в садик, чтобы умыться, увидела на скамейке Лешу, который ждал меня! Было около четырех часов дня.

— Я летал в дивизию, отвозил донесение. Решил заглянуть по пути...— говорил Леша, как-то странно рассматривая меня.— Я так рад тебя видеть!.. Знаешь, мне сказали... Ну, в общем, ты жива — и все прекрасно!

Я сразу поняла, что именно ему сказали. Два дня назад в нашем полку с задания не вернулся самолет. Кто-то из летчиков видел, как при обстреле он загорелся и горящий упал на землю...

— Я тоже рада. Только ты не беспокойся! Хорошо?

Он кивнул. Мы еще немного посидели на скамье под акацией.

— Мне пора,— поднялся Леша.

Я проводила его до самолета.

— Тебя уже можно поздравить? — спросил он.— Пятьсот?

— Можно,— улыбнулась я.

Накануне у меня был юбилейный вылет — пятисотый. Пока в полку только у одной летчицы, Маши Смирновой, было пятьсот боевых вылетов. Я — вторая. По этому случаю меня поздравили и в столовой вывесили плакат-приветствие.

— А я еще не достиг... Но постараюсь! Тебя трудно догнать.

Леша обнял меня и влез в кабину. Махнув мне рукой, порулил на взлет.

На фронте с Лешей я встретилась неожиданно. Это было год назад под Грозным, осенью сорок второго года. В то время наш полк после большого отступления через Дон, через Сальские степи и Ставропольщину прилетел к предгорьям Кавказа. Немцы дошли до Терека и здесь были остановлены. Мы, имея уже некоторый опыт боевой работы в районе Донбасса, где проходили наши первые боевые вылеты, продолжали бомбить врага на Тереке.

В полку отмечалось 25-летие Октябрьской революции, и к нам на праздник приехали летчики из соседнего «братского полка». Они летали на таких же самолетах, какие были у нас, бомбили те же цели. Среди гостей оказался Леша.

— Я узнал, что ты в женском полку,— сказал он.— И поспешил к тебе. Как это здорово, что меня направили именно сюда, на Северный Кавказ!

В «братский полк» Леша прибыл совсем недавно: в связи с наступлением немцев летную школу, в которой он учился, расформировали, а всех курсантов отправили в боевые полки. Когда мы встретились, у меня было уже двести вылетов, и я носила новенький орден — Красную Звезду.

Наша дружба возобновилась. Мы часто писали друг другу записки, передавая их при удобном случае, а иногда виделись, если наши полки стояли по соседству или работали с одного и того же аэродрома.

В январе сорок третьего наши войска пошли в наступление, освобождая Северный Кавказ от врага. Двигаясь вперед, мы летали ежедневно, бросая бомбы на отступающие немецкие войска. Ночью бомбили, а днем перелетали на новое место базирования.

В марте немцам удалось задержаться на Кубани. Им помогла весенняя распутица: дороги развезло, машины застревали в глубокой грязи, наши тылы отстали... Даже мы в полку одно время сидели без горючего на раскисшем аэродроме и питались только кукурузой: подвезти бензин, бомбы и продукты не было никакой возможности.

Линия фронта стабилизировалась. Укрепившись, немцы создали прочную оборонительную полосу, так называемую «Голубую линию», которая тянулась вдоль рек и плавней от Темрюка на Азовском море до Новороссийска на Черном. Понадобилось полгода подготовительных боев на земле и в воздухе, чтобы прорвать эту укрепленную полосу и освободить от врага весь Таманский полуостров.

Здесь, на Кубани, летом сорок третьего года происходили жестокие сражения не только на земле, но и в воздухе. Именно в это время наша авиация завоевала господство в небе. Нам часто приходилось слышать имена Покрышкина, братьев Глинка и других асов, защищавших кубанское небо.

Для нашего женского полка это было напряженное время — каждую ночь под обстрелом зениток, в лучах прожекторов мы бомбили ближние тылы врага. За полгода, которые мы провели на Кубани, в полку погибло шестнадцать летчиц...

...Леша улетел, а я пошла обедать. Вечером нужно было снова идти на аэродром и летать всю ночь. На следующий день стало известно, что наши войска прорвали «Голубую линию» и начали наступление.

Вскоре весь Таманский полуостров был освобожден от врага. Наш полк перелетел на новое место — поближе к Крыму. Теперь мы летали бомбить немцев в районе Керчи.

Приближались ноябрьские праздники. «Братцы» базировались недалеко от нас — в семи километрах, и однажды Леша приехал ко мне на часок, чтобы

вместе со мной порадоваться: был освобожден Киев.

— Слышала? Немцев прогнали из Киева! Теперь дело пойдет — наши рванули вперед!

Мы ходили с ним по обрывистому берегу, смотрели на бушующее Азовское море, над которым плыли черные дождевые тучи. Говорили мы о нашем городе, вспоминали аэроклуб, друзей. Невольно приходили и невеселые мысли: Киев освобожден, но скоро ли нам придется там побывать? И вообще, придется ли...

А через день я узнала, что ночью аэродром «братцев» подвергся бомбежке. Несколько человек были ранены, в том числе и Леша. У него самое тяжелое ранение — в поясницу... В ту ночь Леша дежурил на старте, и, когда стали падать бомбы, он с товарищами бросился растаскивать самолеты, сгрудившиеся перед вылетом.

Днем я вылетела в Краснодар, куда увезли раненых. Попутно в штабе полка мне дали задание — отвезти в дивизию пакет. Приземлившись на большом краснодарском аэродроме, я сразу увидела возле ангара палатки с красным крестом и порулила прямо туда. Оказалось, что в госпитале мест пока не было, и ребята ждали здесь, в палатках.

Откинув полог, я заглянула в первую палатку и сразу вошла, узнав Лешу.

Он лежал на животе и не мог повернуться. Говорить стоило ему больших усилий: спина болела, горели внутренности... Он сдерживался, чтобы не стонать.

Я нагнулась, присела на корточки, чтобы ему было удобнее смотреть на меня. Лицо у него было бледное, на лбу испарина. Но он улыбался.

— Вот я и отлетался...

— Ты поправишься, Леша... И опять будешь летать...

— Ничего, бывает... Ты не смотри так... Я выдержу! Постараюсь...

Я не могла сдержать слез, и они сами катились, катились по щекам... Поцеловав его в холодный лоб, я ушла, чтобы узнать, когда их поместят в госпиталь. Обещали к вечеру.

Не дождавшись вечера, я улетела в полк. Больше я Лешу не видела. Он умер от гангрены: слишком глубока была рана, и спасти его не могли...

Война продолжалась уже почти три года. Впереди был еще длинный путь... Я ничего не знала об остальных моих друзьях.

Только спустя несколько лет после Победы мне стало известно о том, что Оля и Лена погибли под Сталинградом, с оружием в руках защищая раненых, с которыми им пришлось остаться в степи.

От Виктора, который после войны разыскал меня в Москве, я узнала и о судьбе других моих друзей. Все они воевали...

СЛАВА

Мой самолет летел в черноте сырой осенней ночи. В небе, сплошь затянутом облаками, не было ни звездочки. На земле—ни огонька. Только изредка на проселочной дороге вспыхивали фары машины и тут же гасли. Это какой-нибудь шофер, нарушая правила светомаскировки в прифронтовой полосе, ненадолго включал свет на крутом повороте.

Ровно гудел мотор, выбрасывая из патрубков голубоватые языки пламени. Справа под крылом извилисто тянулась еле заметная песчаная полоска Таманского берега. Дальше, за этой полоской, лежала огромная темная масса — Азовское море.

Я летела из района Темрюка привычным маршрутом, по которому наши самолеты «По-2» летали десятки раз в Крым, через пролив, к Керченскому полуострову, где сосредоточились отступившие с Тамани вражеские войска. Каждую ночь мы бомбили укрепленные районы, высоты, на которых стояла артиллерия, склады с боеприпасами, машины, танки, скопления войск...

Но сегодня, когда на Крымское побережье высаживался морской десант для захвата плацдарма, нашему полку дали другое задание: мы должны были бросать бомбы на вражеские пулеметы и прожекторы, которые мешали высадке десанта.

Давая мне и Нине последние указания перед вылетом, командир полка Бершанская сказала:

— Прожекторы и пулеметы стоят на самом берегу. Следите за нашими катерами — они могут причаливать в разное время. Учитывайте обстановку.

Подлетая к Керченскому проливу, еще издали я увидела, что на том, на Крымском берегу, где пока еще хозяйничали немцы, вражеские прожекторы ведут себя не так, как обычно: их светлые лучи сейчас не были устремлены вверх и не скользили в поисках самолетов, а лежали горизонтально на земле и смотрели в сторону пролива. Весь пролив, по которому плыли катера с десантом, был освещен. Выключались они только в том случае, когда приблизившийся гул ночного бомбардировщика предвещал, что на прожектор будут сброшены бомбы.

Широкие лучи медленно ползли по кипящей от мелких волн поверхности моря, выхватывая из темноты отдельные катера, лодчонки и тендеры, которые двигались к берегу. Нащупав катер, белый луч словно прилипал к нему и, полностью осветив его, скользил вместе с ним, пока с берега в упор по катеру бил пулемет.

Катера отвечали огнем, обстреливая берег и место, куда намечена высадка.

К тому времени, когда мой самолет приблизился к берегу, многие катера уже горели. Горели и плыли дальше. Полосы дыма тянулись от них по ветру, и сверху было похоже, будто Керченский пролив заштрихован. Сквозь густой дым пробивался огонь, бросая на воду красноватый свет...

Там, на катерах, были люди. Десантники, которым предстояло не только высадиться, но с боями отвоевать у врага хотя бы небольшую часть крымской земли и потом удержать этот плацдарм.

Самолет был уже над берегом, когда ближайший прожектор, оставив один из катеров, плывших через залив, переключился на другой, который вырвался вперед. На этом катере уже начался пожар, но он упрямо двигался к берегу. Я услышала взволнованный голос Нины, моего штурмана:

— Наташа, держи на прожектор! Скорее!

Но скорее я не могла: слишком мала скорость у нашего «По-2». Пока я летела к прожектору, с берега по освещенному катеру открыл огонь пулемет. С катера тоже вели огонь. Когда мы наконец очутились над прожектором, Нина бросила на него одну бомбу. Только одну, чтобы там, внизу, знали, что у нас осталось еще несколько бомб. Прожектор немедленно выключился и, пока мы над ним кружились, не подавал никаких признаков жизни. Ловить нас он даже не пытался: сегодня у него была другая задача — мешать высадке десанта. Сегодня вообще все было не так, как обычно: вместо того чтобы избегать прожекторов, мы искали их, а

немцы, занятые обстрелом наших катеров, не успевали оказывать противодействие самолетам...

Покружившись над прожектором, мы повернули в сторону пулемета, который обстреливал катер. Едва мы отошли немного, как снова включился прожектор.

— Выдерживай поточнее! — сказала мне Нина.

Тщательно прицелившись, она бросила бомбы на пулемет, который строчил без устали, и мы опять поспешили к прожектору. Видимо, Нина попала точно в цель, потому что пулемет замолчал. Но зато соседний, стоявший неподалеку, перенес свой огонь на наш катер. Мы не успевали...

— Быстрее! Надо погасить прожектор! — волновалась Нина.— Наши уже подплывают к берегу, а он светит...

Она торопила меня, а я злилась, что у нашего самолета такая малая скорость, и на полной мощности выжимала из него все, что могла.

— Катер! Смотри, как он горит!

Действительно, пламя разгоралось все сильнее, и я живо представила себе горстку людей на пылающем катере, под пулеметным огнем. По спине пробежали мурашки.

Больше бомб у нас не было, но мы не сразу взяли курс домой, а некоторое время еще покружили над прожектором, который боялся включаться. А тем временем горящий катер подплывал все ближе и ближе к берегу...

Уже потом, после войны, я узнала, кого мы с Ниной прикрыли с воздуха при высадке десанта, кто был тот старший лейтенант, чей катер первым дошел до неприятельского берега на этом участке. Это был Слава Головин. Тот самый Слава, с которым мы учились летать на планере. Он мне и рассказал впоследствии подробности высадки десанта на керченской земле...

...Огонь вспыхнул на корме, встречный ветер сносил его в сторону моря, и все же он быстро расползался, перемещаясь к центру катера. Никто не гасил пламя: для этого уже не оставалось ни сил, ни времени. Катер, опередив все остальные, шел к берегу первым.

Вражеский пулемет, стреляя с высотки на берегу, косил людей, но прыгать в воду было еще рано, и Слава напряженно ждал, не подавая команды. Он знал, что десантники давно готовы покинуть катер, и стоит ему сейчас сказать всего одно слово, как все, кто уцелел, бросятся в море.

Но Слава не спешил: он должен был определить этот решающий момент с максимальной точностью. Подать команду раньше времени — и многие десантники, даже те, кто совсем не ранен, утонут, выбившись из сил, если глубина моря окажется большой. В то же время и медлить нельзя, так как пулемет может скосить людей еще до высадки.

Отыскав глазами лейтенанта Савкина, своего заместителя, которому верил как самому себе и на которого опирался в трудную минуту, Слава увидел, что тот, согнувшись, помогает раненому передвинуться подальше от огня, и немного успокоился, как бы убедившись в том, что можно выждать еще чуть-чуть и от этого ничего страшного не случится.

Стоя у борта и внимательно вглядываясь в море, Слава попробовал определить, какова обстановка сейчас, когда катера уже пересекли Керченский пролив и подходят к берегу. Соседний катер, освещенный лучом прожектора, яростно отстреливался, и длинная лента трассирующих пуль тянулась от него к тому месту, откуда стрелял вражеский пулемет. Некоторые катера горели, застряв в проливе на полпути, и дым стлался низко над водой, словно дымовая завеса. В лучах прожекторов шевелились розовато-серые клубы, а небольшие волны, освещенные только с одной стороны, отбрасывали зловещие черные тени и казались огромными.

Слава поправил на груди автомат, посмотрел на темневшую впереди землю, которую предстояло отвоевать у врага, и сжал зубы так крепко, что свело скулы. Позади было море. Впереди — вражеский берег с пулеметным огнем, атаками, рукопашными боями... Огонь на катере полыхал, в спину жарко ударяло горячим воздухом, от дыма слезились глаза. Славе показалось, что катер вообще не движется, а стоит на месте...

«Еще немного...» — подумал Слава, усилием воли заставляя себя ждать. Мысленно он отсчитывал секунды, и они толчками отдавались в висках. Эти последние мгновения были самыми тягостными и мучительными.

Кто-то из десантников, не выдержав напряжения, крикнул, яростно выбросив кверху сжатые кулаки:

— Командир, пора! А то сгорим к...

Савкин, мгновенно очутившись рядом с ним, положил ему руку на плечо и резко встряхнул, призывая к порядку. В эту последнюю минуту перед высадкой очень важно было не допустить никакой паники, сохранить дисциплину.

Словно ожидая, когда ему напомнят и подтолкнут к действию, Слава оглянулся, нашел глазами Савкина, окинул зорким взглядом горящий катер и оставшихся в живых десантников, как будто хотел на всю жизнь запечатлеть в памяти эту картину, и, надрывая голос, натужно крикнул:

— К берегу! За мной!

Своего голоса он почти не услышал. Только увидел, как взмахнул рукой Савкин, повторив его команду.

Прыгнув прямо с борта в неспокойную холодную воду, Слава уже приготовился плыть, держа в поднятой руке автомат, но оказалось, что глубина здесь была чуть выше пояса и можно без особого труда идти по дну. Значит, момент был выбран точно.

Справа и слева от Славы прыгали в воду десантники и, наклонясь вперед, шли к берегу. Прожектор, отключившийся перед этим на некоторое время, снова зажегся и теперь светил прямо в лицо, ослепляя и мешая идти. Казалось, он совсем рядом, рукой подать. Слава послал автоматную очередь в сверкающее зеркало, но до прожектора было слишком далеко.

Освещенные пламенем, полыхавшим сзади, и светом прожектора спереди, десантники, тяжело дыша, выбирались на берег. Где-то недалеко послышался рокочущий звук мотора, и вскоре раздался грохот взрывов — это рванули бомбы. «Кукурузник»,— подумал Слава.— Прилетел на помощь». После того, как самолет сбросил бомбы, пулемет, стоявший на высотке, перестал стрелять. Нужно было воспользоваться моментом, чтобы приготовиться к бою.

Отяжелев от намокшей одежды, Слава делал последние шаги в воде. Но вот и берег, каменистый, скользкий. Выбравшись на сушу, он заметил впереди, совсем недалеко от берега, траншею и, взмахнув автоматом, крикнул:

— Давай в траншею! Выбить их оттуда!

Ему казалось, что в страшной сумятице высадки, когда шум прибоя сливался с криками, пулеметными и автоматными очередями, с гулом самолетов, его никто не услышит. Он тревожно и часто оглядывался, но каждый раз с удивлением убеждался, что за ним идут, его понимают с полуслова и даже без слов.

Слава с группой высадившихся бежал к траншее, когда вместо пулемета, выведенного из строя при бомбежке, начал бить другой, дальний пулемет, прежде стрелявший по соседнему катеру. Немцы пытались преградить десантникам путь, но было поздно: десантники уже прыгали в траншею с автоматами наперевес, готовые схватиться с врагом. Однако брать траншею с боем не пришлось, так как немцы, опасаясь остаться отрезанными, заранее сами ушли оттуда.

Теперь Слава мог осмотреться. Пулемет продолжал обстреливать траншею, но это не представляло большой опасности, если из нее не выходить. На море, покачиваясь на волнах, догорал оставленный катер. В разных местах пролива дымились подожженные катера, из-под дыма поблескивало пламя. Но часть катеров все же дошла до берега, и десантники высадились на крымскую землю восточнее Керчи. Прожекторов и пулеметов на побережье стало совсем мало, в основном они действовали у самой Керчи, где высадка была особенно трудной и, по-видимому, не удалась. Оценив обстановку, Слава понял, что в целом первый этап операции — высадка десанта — завершен. Предстоял второй, не менее важный — удержаться и закрепиться на побережье.

После небольшого перерыва снова зажегся прожектор, который не работал, пока над ним виражил самолет. Теперь, когда самолет улетел, он повернул свой луч в направлении соседнего катера, подошедшего вплотную к берегу. Слава подумал, что прежде всего нужно будет вывести из строя этот прожектор, который слишком активен.

К Славе подошел Савкин и, словно читая мысли своего командира, кивнул в сторону прожектора:

— Убрать бы его. Мешать будет.

— Выдели двух-трех человек,— распорядился Слава.— Больше, я думаю, не нужно. Только...

Он не договорил. Ему не хотелось, чтобы группу повел Савкин, не хотелось отпускать его от себя. Слава чувствовал себя уверенней, когда этот тихий, белобрысый, ничем не примечательный лейтенант с внимательными серыми глазами находился даже не рядом, а просто где-то поблизости.

И Савкин понял, опустил глаза, словно был виноват в том, что пользовался таким безграничным доверием командира. Однако, твердо решив, что только так следует поступить, произнес:

— Я сам поведу. Все будет в норме.

Это было его любимое выражение — «в норме». Слава молча кивнул и не стал возражать. Савкин с группой ушел.

Слава скользнул взглядом по небу. До рассвета оставалось часа два. Нужно было спешить: с рассветом немцы попытаются сбросить десант в море.

Пока к траншее подтягивались отставшие и раненые, Слава установил связь с соседями и устроил короткое совещание. К высотке, которую предстояло захватить, были отправлены разведчики. Он действовал быстро и решительно, сознавая, что, если до рассвета не будет захвачена высота, дело кончится плохо: назад пути не было. Слава опирался на свой немалый опыт: оборона Севастополя, Новороссийск, Малая Земля... Он воевал уже третий год и большую часть этого времени — в пехоте. Правда, пехота называлась морской. Когда Славу призвали в армию, он попросился на флот. Однако началась война, и плавать на кораблях ему почти не пришлось: многих моряков очень скоро перевели на сушу.

План захвата высоты состоял в следующем. Как только прожектор будет выведен из строя, десантники должны, пользуясь темнотой, поодиночке подползти поближе к высоте и затаиться у ее подножия до наступления рассвета, спрятавшись в мелком кустарнике, за камнями, в воронках. Едва забрезжит рассвет, сразу по команде все пойдут в атаку. Было условлено, что соседи слева поддержат атаку огнем.

Слава понимал, что овладеть высотой — дело не простое, но это была его главная задача, и он обязан ее выполнить, чего бы это ни стоило. Конечно, немцы будут ждать атаки, и застать их врасплох просто невозможно. Значит, потери будут большие. Очень большие. Но кто-то все-таки дойдет... Кто-то обязан дойти до вершины. И те, которые дойдут, должны удержать ее. Может быть, ему, Славе, не суждено пройти весь путь. Может быть, он доберется лишь до половины. Тогда его заменит Савкин, который завершит дело.

Не суждено... Раньше он никогда об этом не думал, а сегодня такая мысль почему-то возникла. Он вспомнил сына, Володьку, которого никогда не видел, потому что он родился уже после того, как Слава ушел в армию. Вспомнил его таким, какой он был на фотографиях: на одной — голенький карапуз с удивленным выражением темных, как у Славы, глаз, на другой — смеющийся, в клетчатой рубашечке и вязаной шапочке. Мурка писала о сыне длиннющие письма, так что Слава знал о нем почти все: когда у него появились зубки, как он перенес корь, когда начал ходить, какое первое слово произнес...

Немцы методически освещали высотку ракетами, главным образом белыми, иногда желтыми. В промежутках между вспышками ракет ненадолго наступала темнота, если не считать отраженного света ярко-белого луча прожектора. Но прожектор перестанет светить, его должен уничтожить Савкин.

Слава решил, что сигналом к атаке будет красная ракета и его команда: «Бей фашистов!»,— а если его убьют, то команду подаст Савкин.

Посмотрев на часы, Слава подумал, что группа уже должна бы дойти до прожектора. В этот момент он услышал сильный взрыв и короткую перестрелку. Луч прожектора, словно прося о помощи, дрогнул, мигнул два-три раза и медленно погас. Больше он не загорался.

— Молодцы, ребята,— тихо сказал Слава, тепло подумав о Савкине.

До последней минуты он не был до конца уверен в том, что прожектор удастся вывести из строя, и на всякий случай готовился к атаке при свете луча.

Ракеты на высотке стали взлетать чаще — немцы заволновались, услышав у себя в тылу взрыв и перестрелку.

Вернулись разведчики и сообщили, что путь к высотке свободен и внизу можно укрыться в кустарнике и в отрытых там окопчиках.

Возвратился и Савкин с тремя десантниками. Один из них был легко ранен в руку.

Как было условлено, десантники поодиночке начали ползти к высоте, выбирая для этого интервалы между ракетами, когда наступала темнота. Время



от времени по траншее, которую они оставили, бил пулемет. Траншея молчала, зато соседи слева отвечали огнем, отвлекая пулемет.

...Прилетев на свой аэродром, мы с Ниной подождали несколько минут, пока техники заправили самолет горючим, а оружейники подвесили бомбы, и, получив последние сведения о том, как прошла высадка десанта, снова отправились в полет.

Перед вылетом командир полка предупредила нас:

— Будьте внимательны. Бомбить только в районе, прилегающем непосредственно к городу: там враг оказывает сильное сопротивление. Наши высадились к востоку от Керчи.

Полчаса спустя мы приблизились к берегу Крыма. Пролив был погружен в темноту. Кое-где еще оставались дымные следы — несколько сгоревших, но не утонувших катеров плыли по течению, неуправляемые. На самом берегу прожекторов и пулеметов уже не было: они переместились в глубь полуострова. Тот прожектор, за которым мы охотились в прошлый раз, уже не включался. Что за перемены произошли здесь?

Сверху я внимательно разглядывала берег и то место, где высадились десантники с горевшего катера. Я пробовала определить, что там сейчас происходит. Недалеко от того места, где стоял раньше прожектор, шла перестрелка, вспыхивали ракеты. Значит, десантники продвинулись и пока держатся. Как им помочь?

— Может, спустимся ниже? Можно покричать своим...— предложила Нина.

— На обратном пути,— ответила я.

У нас было задание: подавлять огневые точки у самой Керчи, где пулеметы вели интенсивный огонь по высадившимся войскам. И мы поспешили туда, все время оглядываясь назад, на то место, где действовал невидимый десант с нашего катера...

...Слава полз, прижимаясь всем телом к земле и замирая, когда ракеты освещали землю. В этот момент он, не поворачивая головы, старался увидеть как можно больше: что делается впереди, есть ли препятствия на пути. Очень важно было, чтобы там, на высотке и на ее склонах, где, конечно же, прятались передовые наблюдатели, их не заметили.

На востоке, у самого горизонта небо начинало слабо бледнеть, но звезды над головой еще ярко блестели, и было темно. Прошло около получаса. За это время все должны были подползти к высоте и залечь за укрытиями. Никто не подавал голоса. Соседи упорно продолжали вести перестрелку с немцами, создавая впечатление, что именно там, левее, и сосредоточились все силы десантников.

С востока уже надвигался рассвет. Выждав еще некоторое время, Слава посмотрел по сторонам, последний раз проверяя, где его люди, и, кивнув лейтенанту Савкину, приготовился дать команду.

Как только взлетела с шипением выпущенная Савкиным красная ракета, Слава крикнул так, чтобы слышали и те, кто находился с другой стороны:

— Бей фашистов!

— Впере-ед! — подхватил Савкин, срываясь с места.

Слава, пригибаясь, побежал, стараясь не отставать от Савкина. Он видел, что десантники бегут справа и слева, окружая высоту со всех сторон.

— Гранаты! — крикнул Слава.

— Приготовить гранаты! — повторил высоким голосом Савкин.

Пулемет, замерший на короткое время, вдруг опомнился и стал неистово строчить. Захлебываясь, он стрелял по бегущим, но они продолжали бежать с автоматами наперевес. Слава увидел, как кто-то замедлил бег, остановился и со стоном рухнул на землю, кто-то другой, размахнувшись, бросил гранату. Она разорвалась, не долетев до цели.

Савкин, быстро оглядываясь, бежал впереди Славы, словно хотел защитить его от пуль. Вот он на бегу бросил гранату и присел, пригнув рукой и Славу. Граната разорвалась прямо в траншее, которая пересекала закругленную вершину. Пулемет, гнездо которого находилось в отростке траншеи, повернулся в их сторону...

Уже было близко до траншеи, когда Слава увидел перед собой подрагивающую голубоватую вспышку и в то же мгновение почувствовал сильный толчок, будто он с разбегу наткнулся на препятствие. Но препятствия не было, и, подозревая что-то неладное, Слава стал искать глазами Савкина, словно единственное спасение было в нем... Но вдруг он почувствовал боль где-то возле сердца и понял, что ранен.

«Эх, как некстати...» — подумал Слава, еще не определив, куда же он ранен. Он хотел поднести руку к левой стороне груди, но не смог: правая рука не слушалась. Ноги не двигались. Так у него случалось во сне: нужно бежать, а ноги как свинцовые...

«Где Савкин? Ему теперь вместо меня...» Беспокойство охватило его, и он опять попробовал поднять руку. Теперь болело правое плечо, болело страшной разламывающей болью, а рука совсем не двигалась... Ему даже показалось, будто было что-то лишнее, очень тяжелое, там, где правая рука. Слава наконец взглянул туда и совершенно ясно увидел, что руки вообще нет... Там, где кончался локоть, свисал узкий лоскут оборванного рукава, и на нем болталось что-то тяжелое...

Ноги стали мягкими, ватными, голова закружилась. Теперь уже болело везде, болело все тело и особенно плечо и рука... там, где она уже не могла болеть. Наступившая слабость мешала сделать шаг, и он стоял, покачиваясь и медленно оседая на землю. В голове еще вертелось беспокойная мысль: «Где Савкин? Ему вместо меня...»

Как сквозь сон, Слава услышал чей-то голос:

— Бей их, гадов!

Опустившись на колени, Слава здоровой рукой оперся о землю, усилием воли стараясь удержаться и не упасть. «Савкин... Что там... Встать, встать...» Но не было сил не только подняться самому, но даже приподнять голову...

Слабость одолевала его, впереди все покачивалось, и на миг ему показалось, что он еще на катере, который плывет через пролив и никак не может доплыть до берега... Выстрелов он больше не слышал и все силился разглядеть, что делается в траншее, где уже перестали стрелять и где, видимо, шел рукопашный бой. Глаза застлало пеленой, и он, уже ничего не различая, повалился на землю лицом вперед.

Слава лежал на сырой от утренней росы траве и не слышал, как закричали победное «ура!» десантники, выбившие немцев из траншеи, не слышал, как подбежал к нему Савкин и дрожащим голосом машинально твердил одно и то же, разрывая индивидуальный пакет, чтобы сделать перевязку:

— Товарищ старший лейтенант! Все в норме... Товарищ старший лейтенант, все в норме...

...Первое, что увидел Слава, когда открыл глаза, было женское лицо, окутанное туманом. Черты лица расплывались, вокруг него что-то белело. Лицо медленно плыло в воздухе, как легкое облако. Оно показалось Славе знакомым.

— Мурка...

Голос его был слабым, еле слышным, но девушка услышала.

— Очнулся, миленький? Не Мурка я, а Надя! Надя.

Она тронула его за плечо и натянула повыше одеяло.

Теперь Слава и сам видел, что это не Мурка. Мурка осталась там, дома, в Киеве. С сыном... Нет, не в Киеве... Они уехали оттуда на Урал... А это Надя...

На девушке был белый халат и белая косынка. Под косынкой темные, гладко зачесанные назад волосы и черные пушистые, как у Мурки, брови.

— Что, больно? Потерпи, потерпи. Все сбойдется.

Она говорила и одновременно что-то делала на тумбочке рядом с койкой, вероятно, готовила лекарство.

Слава скользнул взглядом по брезентовому потолку, брезентовой стенке: палатка... Медсанбат. Вспомнил горящий катер, голубоватое дрожащее пламя из пулемета... А рука?

Не поворачивая головы, он скосил глаза на забинтованную правую руку: она была неправдоподобно короткой... Он двинул этой короткой рукой и застонал.

На лбу появилась испарина.

— Лежи. Спокойно лежи,— приказала сестра.— Не двигай рукой.

Слава молча смотрел на нее, ожидая, что она скажет еще.

— Была операция. Зашили, сделали все, что надо. Теперь все будет хорошо,— сказала она ровным, успокаивающим голосом.

Он закрыл глаза. Не было сил ни говорить, ни думать.

— Тебя отправят в тыл,— слышалось ему как сквозь сон.— Катером через пролив. Обещали к вечеру...

Катером... Значит, он еще в Крыму. На захваченном плацдарме.

— Я сделаю тебе укол. Ты спи, набирайся сил. Все хорошо.

Укола он почти не почувствовал, сразу куда-то провалившись.

ЛЕКА ДЛИННЫЙ

Лека Длинный, который здесь, на фронте, был для подчиненных лейтенантом Дубровиным, дал перед вылетом последние указания летчикам своей эскадрильи и сказал:

— А теперь — по самолетам! Будьте готовы и ждите сигнала. Две зеленые ракеты — взлет. Черняк, как самочувствие? Готовы лететь?

Молодой паренек, стоявший с унылым видом и неуверенно поглядывавший на Леку, словно чувствуя за собой вину, вдруг преобразился и радостно воскликнул:

— Готов, товарищ лейтенант!

— Отлично!— сказал Лека.— Полетите со мной в паре.

— Есть! — с детским восторгом крикнул Черняк.

Летчики разошлись, а Лека, оставшийся у своего самолета, еще долго смотрел вслед Коле Черняку, думая о том, что надо его подбодрить. Коля совсем недавно пришел в эскадрилью прямо из летного училища, ему было всего девятнадцать, и, хотя самому Леке было ненамного больше, двадцать один, он считал себя уже «стариком» по сравнению с молодым летчиком, сделавшим свой первый боевой вылет только вчера. Вылет прошел не совсем удачно: Коля все время отрывался от ведущего и, когда отстал на изрядное расстояние, на него чуть не напали два «мессера», внезапно выскочившие из облака. Только благодаря Леке, вовремя заметившему опасность, все кончилось благополучно. Естественно, сегодня Коля рвался в полет, чтобы реабилитировать себя, и Лека это понимал.

До вылета оставалось четверть часа. Отойдя от самолета в сторонку, Лека закурил и по привычке посмотрел на небо, определяя погоду на ближайшие часы. С утра шел дождь, но уже к полудню распогодилось, и теперь, к шести часам вечера, в степи дул небольшой ветерок, шевеля густую траву, а по синему небу плыли на восток редкие серебристо-серые тучки. В этот день Лека уже дважды по тревоге вылетал на боевые задания со своими ведомыми и даже сбил «юнкерс». Это был восьмой самолет, уничтоженный им здесь, в небе Донбасса.

Опустившись на сочную апрельскую траву, Лека выбросил недокуренную папиросу и лениво вытянулся, весь расслабившись. Можно было полежать так минуты три, ни о чем не думая.

Но не думать Лека не мог. Снова и снова мысли его возвращались к Тимохе. Они вместе по окончании военного авиационного училища прибыли сюда, в отдельную истребительную эскадрилью, полгода назад, воевали все это время рядом. Часто летали парой, выручали друг друга в бою, и никогда Леке не приходило в голову, что Тимоху, лучшего летчика эскадрильи, могут сбить раньше него. Прошло три недели с того дня, когда Тимоха, погнавшись за «рамой», не вернулся на аэродром, и Лека даже не знал, жив ли он. В тот день Лека вылетал на разведку глубоко в тыл врага, и только потом товарищи рассказали ему, как это случилось.

Лека поднялся с земли, еще раз посмотрел на стоянки, где ожидали сигнала истребители, и подошел к своему «Яку», который был уже полностью готов к вылету. Сейчас ему предстояло повести шестерку «Як-9» «на укол». Это был один из тех полетов, когда, залетев глубоко во вражеский тыл, часто на полный радиус действия самолета, истребители сами выбирали себе цель и, неожиданно поразив ее огнем, сразу же возвращались домой.

Здесь, в Донбассе, линия фронта долгое время была стабильной, и немцы вели себя сравнительно спокойно. Но последнее время стало заметно некоторое оживление во вражеском прифронтовом тылу — все чаще по дорогам двигались на восток колонны войск и техники, обозы, это было признаком того, что враг что-то замышляет. Полеты «на укол» стали обычным явлением.

В эскадрилье сейчас было шесть летчиков, из них двое новеньких, прибывших несколько дней назад. Теперь, когда Тимохи, заместителя командира эскадрильи, не было, а комэск Логинов лежал в госпитале после ранения, эскадрилью водил Лека, за-

менивший командира. Он еще не привык к своему новому положению и каждый раз тщательно продумывал весь полет, чтобы не упустить какую-нибудь важную деталь. Вот и сейчас, в последние минуты перед вылетом, он мысленно пролетел все расстояние до цели и назад.

Лека уже надевал парашют, когда откуда-то из-под мотора вынырнул техник Гриненко и, вытирая замасленные руки ветошью, спросил:

— Что, товарищ лейтенант, опять будете гоняться за «рамой»? Или другое какое задание?

Гриненко в свое время мечтал стать летчиком, но не попал в летное училище: его забраковала медкомиссия.

— Другое.

— А как же «рама»? Так и будет своевольничать?

— Ничего, когда-нибудь я все-таки поймаю ее, проклятую! Не уйдет! — ответил Лека со злостью.

— Не уйдет! — уверенно повторил за ним Гриненко.

Лека молча влез в кабину, надел шлемофон. «Рама» не выходила у него из головы. Именно из-за этого самолета-разведчика, двухфюзеляжного «фокке-вульфа-189», прозванного «рамой», был сбит Тимоха. Теперь Тимохи не было, а «рама» продолжала систематически появляться в районе передовой на том участке, где действовала эскадрилья.

Немецкая «рама» была неуловима. Почти каждый вечер, когда было еще светло, она прилетала к передовым позициям, неожиданно появлялась с запада, где опускалось к горизонту солнце, и ходила вдоль линии фронта, корректируя расположение огневых точек и указывая цели своей артиллерии. Заметив «раму», дежурные истребители немедленно поднимались с аэродрома и спешили ей навстречу. Но догнать ее никто не мог. Она всегда успевала вовремя развернуться и скрыться, маскируясь в лучах заходящего солнца.

Лека сам перепробовал все возможные варианты для того, чтобы встретить «раму»: дежурил на аэродроме в полной боевой готовности, сидя в кабине самолета, чтобы взлететь по первому же сигналу; барражировал в воздухе в том районе, где обычно появлялась «рама»; улетал на соседний аэродром, чтобы потом сбоку зайти наперерез ей, — все напрасно. Летчик «фокке-вульфа» как будто заранее знал все планы Леки и читал его мысли. Ни разу «рама» не попала впросак.

Раньше за «рамой» охотился Тимоха. Когда однажды он все-таки выследил ее и, зайдя незамеченным с тыла, попытался напасть на «раму», его атаковали два «мессера», появившиеся неизвестно откуда. Возможно, они охраняли самолет-корректировщик. Одного «мессера» Тимоха сбил сразу же, но другому удалось сбить его.

Лека ходил мрачный и злой. Его эскадрилья истребителей «Як-9», приданная стрелковому корпусу, выполняла самые различные задания в интересах наземных войск, и только одно задание оставалось невыполненным. «Рама» неизменно уклонялась от встречи с истребителями, и это ей удавалось. Она продолжала точно наводить свою артиллерию на цели, расположенные вблизи от передовой. Войска несли потери.

Наступило время вылета. По сигналу Лека поднялся в воздух первым, за ним взлетели остальные самолеты. Шестерка ушла на запад.

Полеты «на укол» проходили, как правило, успешно и почти без потерь. Внезапно появляясь над целью, истребители штурмовали вражеские аэродромы, железнодорожные станции, эшелоны, автоколонны на дорогах и вообще все, что представляло военный интерес. На этот раз Лека выбрал колонну военных автомашин, которая двигалась по шоссе к фронту.

Истребители один за другим пикировали, обстреливая колонну. Сделав несколько заходов, «Яки» проштурмовали колонну и подожгли все двенадцать машин.

Домой Лека летел в хорошем настроении. День был удачным: в первом вылете он сбил «юнкерс», теперь — успешный полет «на укол». Он поглядывал на своих ведомых, ни на секунду не прекращая следить за воздухом, чтобы избежать неожиданной встречи с немецкими самолетами: вступать в бой сейчас, когда почти все боеприпасы израсходованы, было бы неразумно.

Рядом летел Коля Черняк. Лека видел его лицо, обрамленное шлемом, и ему казалось, что это Тимоха. Сегодня Коля не отставал, во время штурмовки поджег две машины, и Лека был им доволен.

До линии фронта было уже недалеко, высоко в небе висели розовые пушистые облачка, и Лека подумал, что через каких-нибудь четыре-пять минут они будут дома и он непременно объявит Коле благодарность за полет, как вдруг он увидел ее... «Рама»! Двухфюзеляжный самолет, освещенный лучами закатного солнца, был отчетливо виден на фоне предвечернего неба. «Рама» ходила вдоль передовой и, как всегда, уточняла цели для обстрела. Видимо, она еще не успела заметить истребителей, летящих с запада, и спокойно выполняла свою работу.

Лека задрожал от радости. Нет, сегодня ему чертовски везло! Редкий случай... Теперь ненавистная «рама» не ускользнет! Сегодня он, Лека, зайдет со стороны солнца, и «раме» некуда будет деться...

Вот только горючее... Полет «на укол» был долгим, и горючего оставалось в обрез. Лека быстро проверил количество бензина: стрелка показывала почти нуль. В баках осталось ровно столько, чтобы дойти до своего аэродрома. Но размышлять об этом теперь, когда «рама» находилась под самым носом, не имело смысла. Лека отлично понимал, что другой такой возможности разделаться с ней уже не представится, и готов был идти на любой риск, только бы уничтожить проклятый самолет.

Зная, что у ведомых горючее тоже на исходе, он решил действовать один. Покачав крыльями, Лека приказал всем истребителям продолжать полет к аэродрому, а сам резко отвернул в сторону и стал набирать высоту, чтобы оказаться выше «рамы». Но в этот момент он увидел, что Коля по-прежнему летит рядом, отколовшись от группы. «Вот чертов парень! Лезет на рожон!» — выругался про себя Лека и снова приказал всем без исключения ведомым идти на аэродром. Неохотно Коля подчинился.

Ругая молодого летчика, Лека в глубине души был признателен ему, что в трудную минуту он не хотел оставлять своего командира одного. Точно так поступил бы и Тимоха...

Бросившись настречу «раме» почти без горючего, Лека отчетливо представлял себе, чем все это может кончиться.

Его истребитель мчался наперерез «раме», которая уже обнаружила самолеты и, не теряя времени, увеличила скорость, пытаясь отойти на большее расстояние. Крепко сжав ручку управления, Лека весь напрягся. Только бы не упустить! Догнать! Теперь, когда «рама» наконец попалась, он должен ее уничтожить...

Лека заходил сверху сзади. «Рама» пыталась менять курс, виляя то вправо, то влево, но он упорно преследовал ее. Маневрируя, она стремилась уйти на север, туда, где линия фронта делала изгиб на восток; «рама» увлекала таким образом Леку глубже, в свой тыл.

Но Лека теперь не думал ни о какой линии фронта. Вот он, удобный момент... Сейчас выпустит в «раму» все снаряды до последнего! Тщательно прицелившись, Лека с силой нажал гашетку... Тишина!.. Эта тишина оглушила его сильнее, чем самый громкий взрыв. Пулемет молчал... И хотя Лека отлично понимал, почему не стреляет пулемет и молчит пушка, понимал, что боеприпасы полностью израсходованы при штурмовке автоколонны, он продолжал яростно нажимать гашетку...

Воспользовавшись моментом, «рама» резко изменила курс, нырнув куда-то вниз. На какое-то время Лека потерял ее из виду, чертыхнулся, но тут же снова отыскал самолет и пошел прямо на него со снижением. Нет, не уйдет «рама»! И снова он вспомнил Тимоху, который, ничего не боясь, бросился за «рамой», охраняемой двумя истребителями... Лека мгновенно принял решение. Собственно говоря, он принял это решение еще тогда, когда заметил «раму», но только сейчас осознал по-настоящему. Ведь он с самого начала предполагал, что, возможно, ему не хватит ни горючего, ни боекомплекта. И тогда останется единственный способ — таранить «раму».

«Рама» отстреливалась. Но Лека подходил к ней сзади все ближе и ближе, стараясь уклониться от летящих в его сторону пулеметных трасс. Вражескому стрелку, сидевшему за турелью пулемета, трудно было вести прицельный огонь, так как «рама» виляла из стороны в сторону. Немецкий летчик еще не догадался, что истребитель стрелять не может.

Стиснув зубы, подавшись вперед, Лека слился со своим «Яком», ощущая любое движение истребителя как свое собственное. Перед ним был большой силуэт двухфюзеляжного «фокке-вульфа» — больше для него ничего не существовало. Только «рама», которую он должен сейчас таранить...

Ближе... Еще ближе... Хвост... Вон он, хвост... Черные кресты на фашистском самолете выросли до небывалых размеров. Остаются считанные метры... Еще секунда — и воздушный винт «Яка» коснется хвоста... «Лучше рубить хвост сверху»,— подумал Лека в последний момент и двинул ручку управления вперед, опуская нос истребителя на хвост «рамы».

При ударе самолет сильно затрясло, и Лека быстро отвалил в сторону. Тряска прекратилась. Винт истребителя продолжал вращаться, мотор работал: удачно... «Рама» клюнула носом и резко пошла вниз, кренясь набок. Теряя высоту, она валилась то на одну сторону, то на другую, и Лека с чувством удовлетворения подумал, что сейчас она упадет на землю, и он увидит ее конец. Он уже отвернул к линии фронта, думая теперь о том, как бы дотянуть до своих, потому что горючее должно было кончиться с минуты на минуту, как вдруг заметил, что «рама», прекратив снижение, выровнялась, приняв нормальное положение и, спокойно развернувшись, как ни в чем не бывало, продолжала лететь на запад. Лека не поверил своим глазам — уходит! Значит, все напрасно? Значит, она справилась или обманула?!

И опять он рванулся к «раме». Используя высоту, сумел догнать «раму» и занял выгодную позицию, чтобы повторить все сначала. Лека действовал обдуманно, сознавая, что на этот раз все будет гораздо сложнее. Чтобы сбить «раму» наверняка, он решил таранить ее на большей скорости.

Летчик «фокке-вульфа» теперь уже не боялся обстрела, он знал совершенно точно: истребитель стрелять не может. На полной скорости «рама» уходила на запад, увлекая за собой истребитель. Но Лека от нее не отставал.

И вот опять перед ним хвост «рамы». С двумя килями. Хвост, по которому сейчас с силой ударит воздушный винт его истребителя... Снова Лека вспомнил Тимоху. Тимоха не успел... Значит, должен он, Лека... Факт! Ну, Лека!..

Раздался сильный треск. Такой треск, что в первое мгновение Леке показалось — это разваливается на части его собственный самолет. Потом сразу стало тихо... В этот момент Лека совсем не думал о себе. Важно было одно: свалить «раму»...

Качнувшись с крыла на крыло, «рама» стала падать... Пронеслась мысль: неужели опять?! Опять оправится и... Нет, на этот раз удар был сильным, даже, кажется, слишком сильным...

При ударе с вражеский самолет пострадала и Лекина машина. На истребителе сломался винт, поврежденный мотор заглох. В наступившей тишине Лека перевел свой «Як» в планирование, направив его в сторону линии фронта. Сам Лека был цел и невредим.

Истребитель, опустив нос, со снижением шел к земле. За ним тянулся дымный след. Высота быстро падала, и уже не могло быть никаких сомнений в том, что до своих не дотянуть.

Несколько раз Лека оглянулся назад, следя за «рамой»: беспомощно кувыркаясь, она стремительно неслась к земле.

Неожиданно откуда-то сверху на снижающийся «Як» спикировали два «мессера», развернулись над ним и, не сделав ни единого выстрела, ушли на восток. Очевидно, немецкие летчики решили, что на самолет, который был обречен, не стоит тратить ни времени, ни снарядов...

Мотор дымил все сильнее, в кабину стало пробиваться пламя. Хорошо понимая, что остается только одно — покинуть самолет, Лека еще медлил. Внизу были немцы. Прифронтовая полоса. Но прыгать надо было. Прыгать как можно скорее, пока еще возможно, пока есть высота...

Лека открыл фонарь кабины и, нащупав кольцо парашюта, вывалился из самолета, подхваченный струей воздуха. Когда над ним раскрылся белый купол и он почувствовал, что повис в воздухе, он стал разглядывать землю, проплывавшую внизу. Где-то на этой земле ему предстояло приземлиться. В стороне у дороги что-то вспыхнуло, оттуда повалил дым. Лека не сразу догадался, что это взорвалась «рама», упавшая на землю...

Вскоре он отыскал свой истребитель, от которого тянулась длинная светлая полоса дыма. Лека определил, что дым уносит ветром в восточном направлении, и это его обрадовало.

Он искал глазами траншеи передовой линии, но никак не находил. Парашют медленно вращался вокруг оси, и земля плыла, плыла по кругу, словно карусель. Но вот вдалеке Лека увидел извилистую ленту реки, а перед ней прерывистую ломаную линию траншей. Нет, слишком далеко... За рекой были тоже траншеи, еле различимая полоска, где находились наши позиции. Лека скорее угадывал, чем видел эту полоску... Нет, не дотянуть. Факт...

Сердце сжалось... Никогда еще он не чувствовал, как больно сжимается сердце. Если раньше, всего несколько минут назад, ему было почти безразлич-

но, что́ с ним произойдет и останется ли он жив, то сейчас, когда «рама» была уничтожена, когда сам он, потеряв самолет, опускался на территорию, занятую врагом, и почти не было шансов, что его не заметят и не схватят сразу же после приземления, он страстно хотел спастись, не попасть в руки немцев, добраться до своих.

Солнечные лучи уже покинули землю, и она потеряла свою яркую окраску, но здесь, на высоте, Лека еще видел кусочек ослепительно багрового диска, медленно уходившего за горизонт, словно погружавшегося в далекое невидимое море. Исчезло солнце, и ему казалось, что вместе с солнцем исчезла надежда на спасение...

Парашют сносило на восток, и мало-помалу Лека стал замечать, что движется он в сторону линии фронта гораздо быстрее, чем предполагал сначала. И вновь у него появилась слабая надежда, что, может быть, ему удастся перелететь за узенькую полоску реки.

Если, конечно, ничего не случится... А могло случиться самое страшное... Но сейчас Лека даже думать об этом не хотел. Он только на всякий случай вытащил пистолет из кобуры и сунул его в карман брюк.

По мере того как Лека снижался, предметы на земле становились все более крупными и земля все быстрее набегала на него снизу. Теперь он уже совершенно отчетливо видел машины, стоявшие группами, ехавшие по дорогам, огневые позиции, отдельные деревья в садах и вдоль дороги, людей, которые снизу наблюдали за ним.

Приблизились и траншеи. Глубокие, разветвленные, с отростками, в которых были оборудованы пулеметные гнезда. Они напоминали Леке длинных хвостатых ящериц с широко расставленными лапами. В траншеях ходили, сидели, стояли немцы в серо-зеленой форме. Многие, запрокинув голову, смотрели вверх, ожидая, когда приземлится летчик. Лека даже различал их лица...

Сильный ветер уносил парашют дальше, вот уже немецкие траншеи оказались прямо внизу, а высота еще есть, и Лека, боясь в это поверить, теперь уже точно определил, что опустится за рекой, где-то возле своих траншей. Он уже высматривал удобное для приземления место и даже нашел ровную, почти не изрытую площадку, когда увидел, что солдаты в немецких траншеях, спокойно стоявшие и наблюдавшие за ним, вдруг зашевелились, задвигались. Чувствуя, что движение это имеет прямое отношение к нему, Лека старался не думать о том, что вот сейчас-то и произойдет то страшное, чего он больше всего боялся...

На какое-то мгновение Лека закрыл глаза. И вспомнилась ему планерка, парашютная вышка, ребята-планеристы... И никакой войны еще нет, просто он прыгнул с вышки и летит вниз... А на земле его ждут ребята, и Тимоха кричит: «Длинный, подогни ноги — запутаешься!..»

Когда он открыл глаза, увидел, что немецкая траншея уже начала медленно уплывать назад, а немцы поспешно вскинули автоматы и приготовились стрелять. По спине у Леки пробежал холодок, и волосы зашевелились под шлемом. Неужели убьют?! Сейчас, когда он почти уже на земле, когда его ждут свои... Он это видел, видел, как махали ему из дальних траншей солдаты и что-то кричали. Может быть, кричали и не ему, а немцам, чтобы те не стреляли... Леке и самому хотелось крикнуть: «Не стреляйте! Подождите!»

Немецкая траншея медленно уплывала, и ветер сносил Леку дальше, к своим, за речку. Еще немного, всего несколько секунд — и он приземлится на ровной площадке, которую выбрал, сразу же за длинной изогнутой траншеей, где Леку ждали... Но немцы целились в него, и Леке казалось, что целятся они уже целый час... Вот один из них, махнув рукой, что-то крикнул остальным, присел, сдвинул каску чуть назад и выпустил длинную автоматную очередь. Почти одновременно раздались другие выстрелы — немцы стреляли со всех сторон, прямо в Леку...

И сразу послышалось тяжелое уханье миномета, который стоял за дальними траншеями — по немецкой траншее открыли огонь наши минометчики...

Сначала Лека почувствовал боль в ноге, потом толчок в грудь...

Земля завертелась перед глазами... «Убьют!.. Не успею... Факт...» — мелькнуло где-то в гаснущем сознании.

Изрешеченный парашют камнем понесся вниз, не долетев до переднего края.

Когда Лекины ноги коснулись земли, он уже не дышал.

Упал Лека на нейтральную полосу, и долго еще, до наступления темноты, из-за мертвого летчика шла перестрелка.

А когда стемнело, его вынесли с нейтральной полосы свои разведчики.

Похоронили Леку в полку. О том, как он погиб, рассказал мне много лет спустя Коля Черняк.

ПОБЕДА

Война продолжалась. После того, как был освобожден Крым, наш полк перелетел в Белоруссию. Началось большое наступление, и каждую ночь мы летали бомбить врага, двигаясь на запад.

Вот уже освобождена вся советская земля, и наши войска перешли государственную границу. Польша, Германия... Отступая, враг цепляется за водные преграды: Нарев, Висла, Одер...

Последний рубеж, на котором немцы пытаются задержать наступление советских войск,— река Одер.

...Самолет приближается к переправе, по которой немцы перебрасывают войска на западный берег реки. Переправа хорошо защищена.

Над землей стоит густая дымка, в воздухе пахнет гарью, розоватый дым от пожарищ заволакивает небо.

Я вижу, как впереди стреляют зенитки — по переправе бомбит самолет. Это кто-то из наших.

— Держи курс! — говорит Нина, мой штурман.

Она бросает светящуюся бомбу, и я захожу на цель. Видно, как по освещенной переправе едут машины. Стараясь вести самолет как по нитке, я отмечаю, где рвутся зенитные снаряды. Громыхает где-то выше... Вот — справа, ближе... Слева... Вся сжавшись, я продолжаю выдерживать курс. Медленно тянутся секунды. Наконец Нина бросает бомбы серией: у самого основания переправы вспыхивает пожар — горит машина...

Вдруг прямо перед мотором — ослепительная вспышка, раздается сухой раскатистый треск, и я резко бросаю самолет в сторону... Обстрел продолжается, но постепенно мы удаляемся от переправы. И тут я улавливаю в работе мотора стук... Все чаще



Н. Кравцова. Фото 1975 года.

слышны перебои... Значит, осколки все-таки попали... Только бы не заглох...

Мы летим со снижением — падает высота. В небе тускло мерцают звезды. Под нами чужая, немецкая земля.

— Сколько до аэродрома? — спрашиваю я.

— Пятнадцать минут...

Проходит немного времени, и я опять спрашиваю:

— Сколько?

— Двенадцать...

Давно, шесть лет назад, я задавала этот вопрос Мурке. Тогда мне хотелось, чтобы поскорее кончился урок; впереди меня ждал самый первый в жизни полет. А сейчас... Неужели этот полет будет последним?!

А внизу чернеет лес, и кажется он бесконечным. Все ниже опускается самолет, все тревожнее на сердце: что если не долетим...

За большим лесным массивом — аэродром. Уже видны вдали огоньки посадочного «Т», и сейчас эти огоньки кажутся такими желанными! Под крылом совсем близко — верхушки деревьев, а лес все не кончается...

— Наташа,— говорит Нина.— Знаешь...

Она не договаривает. Я молчу. Не верится, что сейчас, в самом конце войны, может случиться непоправимое.

Но вот, едва не задевая верхушки елей, мы плюхаемся у проселочной дороги, не долетев до аэродрома каких-нибудь три километра...

А спустя две недели я ходила по улицам Берлина.

Берлин. Столица фашистской Германии. Город разрушен, еще дымятся развалины. Видны следы недавних боев — прошло всего два дня после падения столицы.

Вчера, пролетая над Берлином, я смотрела на поверженный город с птичьего полета. А сегодня мы приехали сюда на машине и, конечно же, пришли к рейхстагу. Большое мрачное здание полуразрушено. На колоннах и на стенах — надписи, фамилии, даты. Углем, мелом, краской... Здесь многие уже побывали.

Наша группа поднимается по лестнице, мы влезаем на самый верх здания и, очутившись на открытой площадке, останавливаемся. Отсюда, с высоты, я смотрю на город.

Солнце с трудом пробивается сквозь пелену дыма. Тишина. Отгремели бои за Берлин. Но мир еще не объявлен — это произойдет только спустя четыре дня. И война пока не везде кончилась—где-то она еще продолжается. Поэтому тишина в Берлине кажется непрочной: чудится, что вот сейчас раздастся грохот взрыва или выстрел...

Я спускаюсь по ступеням широкой лестницы, полузаваленной щебнем, камнями, а навстречу поднимаются те, кто хочет побывать на рейхстаге. Солдаты и офицеры, танкисты и пехотинцы...

Я уже почти спустилась вниз, когда вдруг услышала знакомый голос:

— Наталка! Ой, наконец-то мы встретились!

На шею мне бросилась Валя. Мы крепко обнялись, а Валя даже заплакала от радости. Она была в форме военного летчика. На погонах — две звездочки. Лейтенант. На груди два ордена, медали.

— Значит, и ты летала! Где же ты была?

— На Первом Белорусском! — ответила Валя.— А ты — на Втором, я все знаю! Слышала про ваш полк. Очень просилась к вам, но не отпустили. Я в эскадрилье связи. К партизанам летала, раненых вывозила — разные задания..

— Значит, тоже на «По-2»! А наших не встречала?

— Нет. С Виктором, правда, переписываюсь. Он тоже в авиации. Все-таки добился! Ну, а ты, Наталка, сияешь!.. — Валя потрогала Золотую Звезду на моей гимнастерке.— Вот бы Тимоха обрадовался! — вдруг сказала она, засмеявшись, и сразу стала серьезной.— Ничего о нем не знаешь? Жив?

— Нет, не знаю.

И я рассказала ей о Леше, о его смерти.

Мы стояли на лестнице. Нас обходили, оглядываясь, а мы не замечали.

Скоро меня позвали — машина должна была уезжать.

— Счастливого пути! — крикнула Валя.

Я поспешила вниз, все оглядываясь. Валя махала пилоткой, улыбаясь.

— До встречи!

Через минуту полуторка наша уже ехала по улицам Берлина, удаляясь от центра, и долго еще было видно, как над рейхстагом развевается алое знамя Победы.

●



Санинструктор.

Фото Г. КОНОВАЛОВА.

С фотовыставки «Великая Победа».



«СПАСИБО, СЫНКИ!»

В сентябрьские дни 1943 года тысячк населенных пукнтов Смоленщины освобождалнсь наступающимк войсками Советской Армнк. Вместе с кими шли и мы — фронтовые журналисты. Чем дальше от нас герокческое прошлое, тем дороже для наждого автора сделакные им фотографии. Вот ксторкя одной из ких...

Всего час-другой прошли с того момекта, когда село было освобождено от врага. Иду по улице освобожденного села и вдруг вижу... Натруженные руни старой женщины ласново, по-материксни обнимают голову солдата. Ока бережко целует лоб и глаза смущенного паренька, почтк мальчина, одного из тех солдат, которые освободили ее дом. Над дверью дома еще прибита деревякная таблична с надписью: «Руссним вход запрещен». Почти два года она ке могла войтк к себе в дом, построенный ее отцом, дом, где она росла, где создала семью, дом, из которого три сына ушли защищать Роднну от врага. «Спасибо, сынни! Спасибо вам, дорогке»,— шепчут сухке губы женщины.

Хотелось сназать: «Крепись, мать! Вернутся с войны твои сыны, и ты также обнимешь их к поцелуешь в глаза».

Этот снкмок особенко дорог мне средк многих тысяч, сделанных в годы войкы.

М. РЕДЬКИН

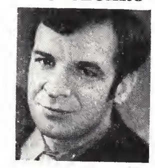


Герои Советского Союза М. Кантария и М. Егоров со Знаменем Победы.

Фото В. ГРЕБНЕВА.



Борис Ластовенко



А вверху проходят поезда

Потянуло к ллесам н мостам,
где роса, рыбалкн зоревые,
а вверху лроходят лоезда:
черные, груженые, стальные.
Задрожат бетонные быкн,
эшелон лересчитает стыкн,
н олять над ллесамн реки
росно, одиноко н лустынно.
И олять, толорща ллавннкн,
в лонсках лоостора и ложнвы
сумрачные рыбьн косякн
выйдут лод высокне обрывы.
Видно, рыбу не лугает гром...
И летят в ажурные лролеты
лоезда, груженные зерном,
черные от угля н работы.

В походе

Четвертые суткн идем.
Пехота устала от лылн.
Не ломню, в ауле каком
горянка водой напоила
меня, человека с ружьем.

Четвертые суткн идем.
Стучат салогн на рассвете.
Нас люди встречают добром,
и тянутся малые детн
ко мне, человеку с ружьем.

Дуб в степи

От вершнны до корней
весь могучнй остов дуба
формой кряжнстых ветвей
мне наломннл звенья сруба.
А в его густой тенн,
скрытый лнстьямн от солнца,
воздух утреннні стонт,
как стонт вода в колодце!
Много знавший на веку
дуб в стелн,
большой н старый.
И к нему, как к роднику,
лрнлетают лтнчьн стан.

✪

И гром, высказывая мощь,
загрохотал легко, открыто,
как будто бабушка лод дождь
несет железное корыто!
Как будто маленький, стою
лод намокающей застрехой,
ладошкой маленькой ловлю
струю, стекающую сверху...
Все это было нлн нет!
И кто же мальчик!..
Неизвестно.
Но — ослелительнейшнй свет
н гром, как ладает железо!
И время вндится насквозь,
а в нем деталямн жнвымн —
н гром, н маленькая горсть,
в которой каллн дождевые.

Гуси на том берегу

Памяти матери

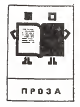
Эти гусн на том берегу
все крнчат н крнчат нз тумана...
Я очнусь. Я уснуть не смогу,
этн гуси на том берегу,
это я. Это детство и мама.
Я забуду, как веткн стучат,
как ветра обрываются глухо,
н забуду, как гусн крнчат
нз тумана. Из дальнего луга.
Я не ломню ни веток, нн лнц,
я усну и забыть лостараюсь
дальннй крнк улетающих лтнц,
лтнц, с которыми я не лрощаюсь.

Липы в шахтерском поселке

Калли, каллн ло лнстьям стучат,
темнота залолняет дорогу,
с темнотою, как я замечал,
лодступают н лнлы к лорогу.
Их манят золотые огнн,
лрнвлекает телло человечье,
и об этом судачат онн
на своем многолнстном наречье.
Пусть деревья — а все же невмочь
на осеннем ветру оставаться!
И лоэтому целую ночь
лилы в темные окна стучатся.

✪

Каленая н красная
летит листва с берез,
вода в реке захрясла
и двнжется лод мост.
Лежнт лнства — не тонет...
И если свет дневной,
как в золотом чертоге,
должно быть, лод водой!





Юрий
ДОДОЛЕВ

В МАЕ СОРОК ПЯТОГО

ПОВЕСТЬ

Рисунки
Ю. ЦИШЕВСКОГО.

1

Командир стрелкового взвода Овсянин шел вдоль строя, нахлестывая веточкой сапоги — новенькие, надетые сегодня утром по случаю окончания войны. Сапоги, должно быть, жали: Овсянин припадал на правую ногу и морщился. Был он среднего роста, тучноват, с покатыми, как у женщин, плечами и мясистой грудью — гимнастерка туго обтягивала ее. По возрасту и комплекции командир взвода походил на майора или подполковника, но был всего лишь лейтенантом. На фронт он попал из запаса, до войны работал не то плановиком, не то экспедитором. Бойцы уважали своего командира: Овсянин был в меру строгим, в меру требовательным, никогда не зудел по пустякам, а если наказывал, то за дело. Вне службы любил посмеяться, обожал байки, сам с удовольствием рассказывал всякие истории, в которых правда переплеталась с вымыслом и был грубоватый юмор.

К Андрею Семину командир относился больше чем хорошо. Как и Андрей, Овсянин был москвичом, только жил у Преображенского рынка, а Семин — в Замоскворечье, в одном из тихих переулков, застроенных маленькими домиками, большей частью деревянными, с узенькими тротуарами и незамощенной мостовой. Семин никогда не бывал на Преображенском рынке, Овсянин же лишь понаслышке знал переулок, где прошло детство и отрочество Андрея, откуда в конце 1943 года он ушел в армию и куда теперь хотел поскорее вернуться, ибо там, в одноэтажном доме, разделенном на пять комнат дощатыми перегородками, с общей кухней, где стояли впритык столы, висели самодельные полки, шумели примусы, чадили, тихо потрескивая, керосинки, ждала его мать — молчаливая женщина с наброшенным на плечи дырявым платком. Она куталась в него постоянно — даже в жаркую погоду. Жили они вдвоем, отца Андрей не помнил: он умер через год после рождения сына, а братьев и сестер у Андрея не было.

Еще вчера небо хмурилось, предвещая дождь, ветер трепал ветки с начавшими распускаться

почками и молодой листвой; по лесной речке, на берегу которой были окопы и блиндажи, промчался, вспучивая воду, вихрь, потом стала пробегать рябь, и молодые солдаты, поглядывая на небо, говорили друг другу, что дождь некстати, что завтра утром, когда начнется бой, им придется туго: сапоги превратятся в пудовые гири от налипшей на них грязи, и трудно будет бежать к немецким укреплениям, смутно видневшимся за колючей проволокой на противоположном берегу, метрах в семистах от окопов.

О предстоящем бое еще не объявили, но сработало «солдатское радио», и бойцы теперь про себя и вслух проклинали немцев, окруженных тут, под Либавой, прижатых к морю, но все еще надеявшихся на что-то. Два месяца назад солдаты думали, фрицы захотят вырваться из «котла»; потом, когда начались бои в Берлине, поняли, что немцам крышка, и недоумевали, почему они не сдаются.

Ветер неожиданно стих. Тяжелые капли упали на землю.

— Беда! — сказал Петька Шапкин и поспешил к блиндажу — туда вел окопчик, узенький и глубокий, еще не просохший на дне.

Но дождь только напугал, даже траву не намочил.

— Завтра хлебнем,— заявил Петька, окидывая беспокойным взглядом затянутое облаками небо.

— Может, ничего не будет, а?..— Семин с надеждой посмотрел на него.

— Ни в жисть!

Был Петька скуластым, широким в кости, немного сутуловатым, с виду медлительным, на самом же деле расторопным, даже пронырливым и очень практичным. У Петьки все было: и иголки с нитками, и лоскутки на заплаты, и выстиранные, хотя и неглаженые тряпочки для подворотничков, и многое-многое другое, что необходимо солдату. Он принадлежал к числу тех людей, которые все могут и все умеют. До армии Петька жил в деревне, окончил всего четыре класса, потому что — так утверждал он — «средствà не позволили учиться дальше», семья была большая, одних детей семь душ, и он, Петька, самый старший. Семин был горожанином, поэтому он часто обращался к Петьке за помощью.

— Интеллигенция,— ворчал в таких случаях Петька, и невозможно было определить, что он хочет сказать этим словом.

Как умел, Петька заботился о Семине: помогал чистить винтовку, делился припрятанным сухарем, если кишка кишке начинала строчить рапорт, но недоверчиво хмыкал, когда Андрей начинал рассказывать о Москве, о своей прежней жизни.

— Каждую неделю в кино ходил? — удивлялся Петька.

— Даже чаще! — хвастал Семин.— «Новые времена», «Огни большого города», «Волгу-Волгу» по три раза смотрел.

— «Волгу-Волгу» в наш клуб тоже привозили,— оживлялся Петька,— «Чапаева» два раз крутили, еще ту картину смотрел, немая она, где Ильинский — портной и хозяйка женить его на себе вздумала, он утек от нее и чуть под паровоз не попал. Потешная такая картина, вот только название позабыл.

— «Закройщик из Торжка»,— небрежно ронял Семин.

— Точно! — радостно подтверждал Петька.— У меня от смеха чуть жилы не лопнули.

— А еще что смотрел?

— К нам редко кино привозили,— признавался Петька.— Наша деревня от райцентра — двадцать четыре версты. Киномеханик Нил Нилыч это дело любил,— Петька щелкал себя по шее,— и пока не поднесут ему, даже будку не отмыкал. А потом получалось не поймешь что: то части перепутает, то включит свет и сам рассказывает про то, что дальше. Ему кричат: «Не мели языком, Нил Нилыч, крути давай!» А он: «Извиняйте, граждане, в Подлесной две катушки забыл, потому как торопился очень». В Подлесной тоже клуб был — эта деревня от нас десять верст. Иногда мы перерыв устраивали, гонца снаряжали в Подлесную, а чаще — послушаем Нил Нилыча и дальше.

— Гнать его надо было в три шеи за такие дела! — возмущался Семин.

Петька соглашался.

...Как только стемнело, взвод передвинули в лес, подступавший к самой речке, не очень глубокой и не очень широкой, обыкновенной лесной речке, в которой на мелководье виднелось илистое дно, в солнечные дни там резвилась рыбная молодь, а в омутах вода была чернее сажи и казалась густой, словно деготь. Вывороченные с корнями деревья лежали вдоль и поперек речки. Тонкоствольные березки и осинки течением прижимало к берегу, а толстые бревна перегораживали речку, как плотины: вода переливалась через них, размягчая кору. От долгого пребывания в воде стволы стали скользкими и, хотя для переправы на тот берег не требовалось никаких плавсредств, идти по черным, полузатопленным деревьям было рискованно.

Лес, в который передвинули бойцов, находился метрах в восьмистах от прежней позиции — в заболоченной низинке, отделенной от речки невысокими кустами, сомкнувшимися друг с другом, образующими сплошную линию. Зимой, запорошенные снегом, кусты эти выглядели неказисто, но в конце апреля, когда стало много солнца, они покрылись пупырчатыми почками. Несколько дней назад из почек высунулись зеленые язычки, и Семин с интересом наблюдал, как эти язычки увеличивались, превращались в клейкие, пахучие листочки.

Земля в лесу была влажной. Петька долго блуждал от дерева к дереву, от куста к кусту, пока не нашел сравнительно сухое и удобное место.

— Сыпь сюда, Андрюха,— позвал он Семина, и они стали устраиваться на ночлег.

От речки тянуло сыростью, тревожно и надоедливо вскрикивала какая-то птица, на противоположном берегу блуждали, то появляясь, то исчезая, огоньки. Они обостряли и усиливали страх, который с утра медленно заползал в душу Семина. Он решил, что завтра, когда начнется бой, его убьют, и стал мысленно прощаться с матерью — она часто писала ему, просила беречься. Андрей в детстве причинял ей много неприятностей своим озорством, и теперь это угнетало его. «Матери всего сорок пять лет,— думал он,— а она уже совсем седая, и в этом, наверное, виноват я». Перед глазами возникла картина: мать с шитьем в руках — она всегда что-нибудь шила или штопала по вечерам. Семин вздохнул.

— Не спишь? — окликнул его Петька и, не дожидаясь ответа, признался: — Мне тоже боязно. Давеча Сарыкин говорил: напоганят фрицы напоследок.

Петька часто ссылался на ефрейтора Сарыкина — самого храброго солдата в их взводе. Были они земляками — сто пятьдесят километров, разделявших их деревни, не принимались в счет: фронт рождал теплые чувства, вызывал симпатии даже тогда, когда один солдат узнавал, что дру-

гой лишь побывал в его краях. Убедившись в этом, солдаты начинали похлопывать друг друга по плечам, совершенно серьезно объявляли, что они земляки.

О Сарыкине Петька говорил уважительно, с многозначительными паузами, называл его дядей Игнатом. Ефрейтор был для него самым большим авторитетом. И не только для него — для многих. Маленького роста, словоохотливый, он издали походил на мальчишку. Было ему лет пятьдесят. На его морщинистом, будто иссеченном ножом лице выделялся нос — большой, красноватый, сильно утолщенный в ноздрях, особенно справа. Разговаривая с кем-нибудь из солдат, Сарыкин теребил свой нос, зацепив правую ноздрю пальцами — большим и указательным. Стоя навытяжку перед начальством, медленно поднимал руку, но вовремя спохватывался, опускал ее и начинал шевелить пальцами. В зависимости от разговора пальцы Сарыкина то едва двигались, то нервно ощупывали галифе, то складывались в фигу, в этом случае ефрейтор осторожно отводил руку за спину. Острижен он был под машинку, но не наголо, как стригли других: ротный парикмахер оставлял на его голове волосы. Были они реденькие, короткие и, видимо, очень мягкие, а по цвету не поймешь какие — в них густо серебрилась седина. Как и Овсянин, Сарыкин любил посмеяться, часто балагурил. За острый язык его не жаловал старшина роты — молодой, но уже познавший власть старший сержант, мордатый, с упрямым, чуть выдвинутым подбородком и надменным выражением глаз. Однако старшина был вынужден считаться с Сарыкиным: он единственный в роте имел два ордена Славы — третьей и второй степени, и утверждал, что добудет в бою еще одну Славу, чтоб стать полным кавалером. Кроме двух орденов, у Сарыкина была медаль «За отвагу», и Андрей с Петькой втайне завидовали ему, потому что никто из них никаких наград не имел. Сарыкин, видимо, догадывался об этом, часто говорил:

— Я, мальцы, с сорок первого воюю. Два ранения нажил и контузию. От нее сильно психованным стал. Распсихуюсь — руки чешутся.— Сарыкин улыбался и добавлял не то в шутку, не то всерьез: — Допрежь всего, когда наш старшина на позиции объявляется.

О своих боевых подвигах он не рассказывал, и Андрей с Петькой не знали, за что Сарыкин получил медаль и Славу третьей степени, а вторую Славу с золотым кружочком посередине он добыл, можно сказать, на их глазах. Его наградили этим орденом за «языка» — тучного немца, оказавшегося важной шишкой, раненного в обе ноги. Сарыкин притащил его на себе с той стороны речки, и было непонятно, как он, маленький и щуплый, нес на себе гитлеровца, который, по словам Петьки, тянул пудов на пять с гаком.

— Не спишь? — снова обратился к Семину Петька.

— Сплю! — огрызнулся тот.

— А я — никак.

В Петькином голосе была тоска, и от этого Андрею стало еще хуже: война заканчивалась, хотелось жить, жить, жить, а утром предстоял бой. На противоположном берегу по-прежнему двигались огоньки и вскрикивала какая-то птица.

— Кто это кричит? — Семин приподнялся.

— Выпь,— ответил Петька.

Стало прохладно. Ночная сырость добралась до тела, по спине побежали мурашки.

— Подвигайся ближе,— сказал Петька.

Согретый его теплом, Семин заснул...

2

Проснулся он внезапно — затрещали автоматы. Еще не разлепляя глаз, одурманенный сном, решил: «Немцы!» Мгновенно перевернулся на живот, прижался к земле, подтянул к себе винтовку, а потом уж раскрыл глаза. Прямо перед его носом шевелила рожками улитка, молоденькая травка была мокрой от росы, в прозрачно-выпуклых каплях отражались солнечные лучи; над речкой висел туман, похожий на застывший пар; небо было синим-синим — таким Андрею представлялся платочек, про который пела Клавдия Шульженко. Позади Семина, справа и слева раздавался сухой треск автоматных очередей.

И вдруг он услышал смех. Скосил глаза и увидел Петьку. Его лицо было опухшим ото сна, но сияло, как надраенная пряжка. Ничего не понимая, Андрей уставился на него.

— Чего глаза лупишь? — заорал Петька, утратив свойственную ему степенность.— Кончилась война!

— Врешь?

— Ей-богу, кончилась!

Все еще не веря, Семин встал. Солдаты бродили по берегу, как пьяные, смеялись, целовались, обнимались, стреляли в воздух. Посмотрел за речку — туда, где на красновато-глинистом поле были немецкие укрепления. Увидел пленных, покорно плетущихся по дороге, круто сворачивавшей в лес. Издали колонна напоминала гигантскую гусеницу.

Смех и стрельба смолкли. Все тоже смотрели на пленных и, наверное, думали, что и Семин: «Еще вчера эти люди могли убить нас, а мы их, а теперь и мы и они живые». Андрей отметил про себя, что думает о немцах без прежней ненависти, и, удивившись, хмыкнул.

— Чего? — спросил Петька.

— Просто так.

— А-а...

Когда пленные скрылись в лесу, снова раздался смех, снова затрещали автоматы. Взвизгнула гармошка.

На полянку вышел Сарыкин в сопровождении таких же, как он, пожилых солдат. Ефрейтор был под хмельком, шел он игриво, выкрикивая простуженным голосом прибаутки. Все заулыбались, потянулись к веселой компании.

— Уже дернули,— завистливо произнес Петька и позвал Андрея поглядеть, как гуляют старички.

Сарыкин кого-то напоминал. «Кого?» — стал вспоминать Семин и почувствовал — рот растягивается до ушей: ефрейтор походил сейчас на кучера катафалка из кинокартины «Веселые ребята» — такой же шустрый, плутоватый. И шел он так же — с пятки на носок, заложив одну руку за спину, а другую, согнув в локте, держал на уровне живота. Казалось, еще мгновение, и Сарыкин выкрикнет: «Тюх, тюх, тюх, тюх — разгорелся наш утюг...»

— Дает дядя Игнат! — восхищенно проговорил Петька и потоптался, словно сам собирался пуститься в пляс.

На гармошке играл солдат в стоптанных сапогах, с заплатами на голенищах. Лицо у него было нарочито скучным: такое выражение придают своим лицам сельские гармонисты на свадьбах, когда хотят подчеркнуть, что чужое веселье для них — служба.

— Гуляй, ребята! — крикнул Сарыкин и пошел по кругу, то замедляя, то убыстряя шаги. Чувство-

валось, его переполняет радость, и он, не скрывая этого, веселил людей и сам веселился.— Эх, эх, эх! — выкрикивал ефрейтор, и две Славы и медаль на его груди тихо звенели.

Вдруг Семин услышал всхлип. Прислонившись к березке, девственно чистой, умытой росой, плакал солдат, размазывая пилоткой слезы, шумно двигал носом; большая плешь, окруженная седым венчиком, жарко блестела на солнце, напоминая блюдце.

— Что случилось, батя? — уважительно спросил Андрей, подойдя к солдату.

Тот улыбнулся сквозь слезы:

— От радости плачу, сынок. От великой радости! Сколько разов в мыслях с детишками и внучонками прощался, и на тебе — выжил!

Взволнованный этими словами, Семин сказал:

— Теперь, батя, все мы долго-долго жить будем!

— Верно, сынок,— отозвался солдат и снова всплакнул, уронив на землю счастливые слезы.

«Как хорошо вокруг!» — подумал Семин. Неужели сырые окопы, грязь, холод, то возникающий, то исчезающий страх, озверевшие немцы — все, о чем два года назад он только догадывался и не предполагал, что действительность перечеркнет своей жестокостью его фантазию,— неужели все это теперь позади? Сколько душевных сил, нервной энергии потребовалось, чтобы утвердиться в этой действительности и в то же время не растерять то светлое и хорошее, что привила ему мать, школа, что было его довоенной жизнью. Семин так и не научился сквернословить без повода, как это делали другие, не стал бессмысленно жестоким — такое тоже бывало. Он ненавидел фашистов, стрелял в них, но и ощущал что-то вроде жалости, когда видел немца, очутившегося в плену и с тоскливым раскаянием в глазах ожидавшего решения своей участи. В Семине тогда как бы совмещались два исключающих друг друга человека. Один из них возмущался, требовал наказать этого немца построже, другой пытался заглянуть в его прошлое и будущее. «Каким он был раньше? — спрашивал Андрей сам себя.— Каким будет, когда вернется домой?» Хотелось верить раскаянию в глазах.

«Как хорошо вокруг,— продолжал думать Андрей.— Скоро нас, наверное, демобилизуют. Я поеду в Москву, к матери, Петька — в свою деревню, Сарыкин тоже. Все, кто остался в живых, вернутся домой».

Гармонь взвизгивала все громче, пальцы солдата-гармониста бегали по клавишам — не уследишь. Солнечные лучи разогнали туман. Его клочья, спрятавшись под обрывом, казалось, прилипли к черным корягам, выступающим из-под нависшего над ними берега. Но даже там, в холоде, туман медленно растворялся, бесследно исчезал в звонком утреннем воздухе. Большой жук, треща крыльями, полетел над полянкой, почти касаясь травы.

— «Мессер» на посадку идет! — по-мальчишечьи воскликнул Петька и, растопырив руки, погнался за жуком, переваливаясь с боку на бок.

Жук резко взмыл, превратился в крохотную точку.

— Надо было пилоткой,— запоздало посоветовал Семин и вдруг вспомнил, что еще вчера тут летали не только жуки, но и пули. Окинул взглядом воронки, наполненные талой, уже подернутой ряской водой. Последний артналет немцы предприняли две недели назад. В этот день никого не убило, только ранило двоих. А раньше... Сейчас об этом не хотелось вспоминать. Семин решил тоже отсалютовать в честь Победы, поднял винтовку.

— Отставить! — На полянку въехала, громыхая колесами, полевая кухня. Старшина роты в хорошо пригнанной офицерской шинели сидел на облучке, держа вожжи.

Семин исподлобья взглянул на него, щелкнул затвором. Петька шепнул:

— Не связывайся с ним, а то он весь праздник нам испортит.

«Верно»,— спохватился Андрей.

— Чего привез? — спросил Сарыкин. Был он в расстегнутой шинели, без пилотки — она торчала, скомканная, из кармана.

Старшина покосился на ефрейтора:

— Не по уставу одет, Сарыкин!

— Разве? — притворно удивился тот и прикрыл ресницами насмешливый блеск в глазах.

— Не по уставу,— подтвердил старшина.— Какой пример молодым подаешь? — Он покосился на Семина и Петьку.

— Если бы они пример с меня брали, то война, может, еще раньше кончилась,— со значением проговорил Сарыкин, кинув на Андрея и Петьку веселый взгляд, и они поняли, что он хотел сказать.

Старшина нахмурился.

— Я не о том.

— А о чем же тогда?

— Я про твой внешний вид толкую. Для бойца внешний вид — самое главное.

— Не скажи,— возразил Сарыкин.— Самое первое — страх не казать, когда страшно, и воевать как положено.

Старшина неожиданно усмехнулся:

— А ты хвастун, Сарыкин!

— Я-а?..

— Хвастун! — подтвердил старшина.— Говорил: еще одну Славу добуду, а война-то — тю-тю.

— Вона ты о чем! — Сарыкин сбил с шинели соринку.— Главное, отвоевались.

Все одобрительно закивали. Старшина хотел добавить еще что-то, но передумал, поднял резким движением крышку с котла.

Сарыкин потянул носом.

— Наркомовские привез?

— Угадал.— Старшина взял черпачок.— А каша чуть погодя приедет. Но тебе наркомовские не дам.

— Не дашь?

— Не дам.

— Почему?

— Застегнись, как положено, и пилотку надень!

Сарыкин рассмеялся.

— Твоя взяла!

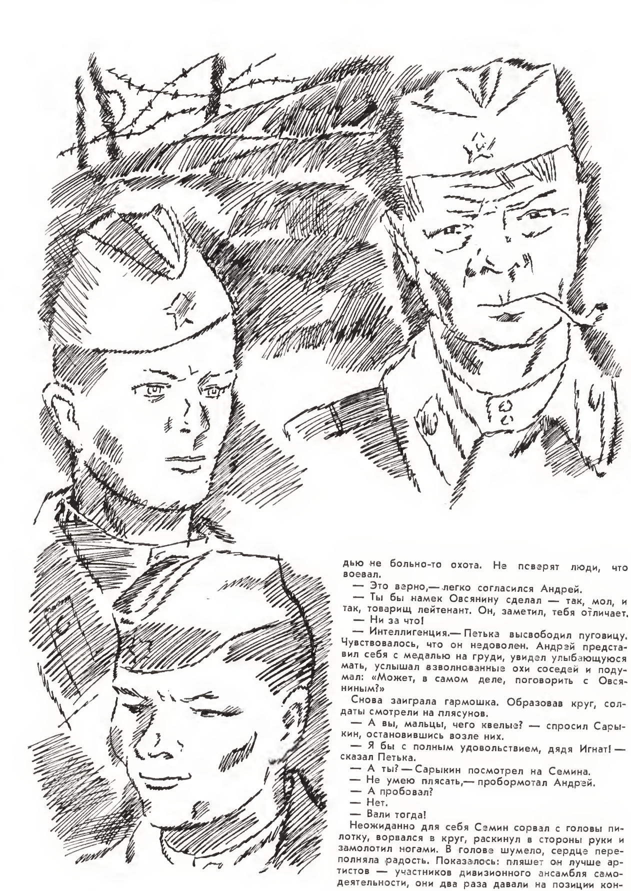
Старшину он терпеть не мог. Когда в срок не привозили горячее или вместо хлеба выдавали сухари, ворчал: «Наел загривок, боров гладкий, а на остальное ему — начхать! Все к офицерьям жмется, все их ублажает. Даже одежку себе офицерскую справил, хотя такая и не положена ему. Я бы на месте командира роты сунул ему винтовку и...» — Сарыкин делал выразительный жест.

Водку пили по-разному. Одни, не отходя от повозки, сразу опрокидывали в рот двойную порцию, которую разливал старшина в котелки и кружки; другие чокались, пили бережно, подставив под подбородок ладонь, чтобы — упаси бог! — ни одна капля не пропала.

Семин выпил и почувствовал: «Пошла!» Стало легко, будто за спиной выросли крылья. Захотелось пофилософствовать. Подойдя к Петьке, он поймал пуговицу на его гимнастерке и сказал:

— Ты только подумай, Петь, война кончилась!

— Кончилась,— проворчал Петька.— А у нас никаких наград. Домой возвращаться с пустой гру-



дью не больно-то охота. Не поверят люди, что воевал.

— Это верно,— легко согласился Андрей.

— Ты бы намек Овсянину сделал — так, мол, и так, товарищ лейтенант. Он, заметил, тебя отличает.

— Ни за что!

— Интеллигенция.— Петька высвободил пуговицу. Чувствовалось, что он недоволен. Андрей представил себя с медалью на груди, увидел улыбающуюся мать, услышал взволнованные охи соседей и подумал: «Может, в самом деле, поговорить с Овсяниным?»

Снова заиграла гармошка. Образовав круг, солдаты смотрели на плясунов.

— А вы, мальцы, чего квелые? — спросил Сарыкин, остановившись возле них.

— Я бы с полным удовольствием, дядя Игнат! — сказал Петька.

— А ты? — Сарыкин посмотрел на Семина.

— Не умею плясать,— пробормотал Андрей.

— А пробовал?

— Нет.

— Вали тогда!

Неожиданно для себя Семин сорвал с головы пилотку, ворвался в круг, раскинул в стороны руки и замолотил ногами. В голове шумело, сердце переполняла радость. Показалось: пляшет он лучше артистов — участников дивизионного ансамбля самодеятельности, они два раза давали на позиции кон-

церты. Все хлопали в ладоши и улыбались. Сарыкин подбадривал:

— Жги, малец, жги!

Горячий пот катился с лица, нательная рубаха стала хоть выжимай. Решив напоследок удивить всех, Семин попробовал вприсядку и, очутившись на земле, ошалело уставился на окружающих его бойцов. Они доброжелательно посмеивались, аплодировали.

— Уважаю бедовых,— сказал Сарыкин и помог Андрею встать.

Петька тоже хотел показать свою удаль, но его оттерли. Он обиделся, отошел в сторону, сказал Семину:

— Не умеешь плясать! Не в такт ходишь. Музыка играет, а ты ногами колотишь, будто и нет ее.

Музыкального слуха у Семина не было — это он знал, но, воодушевленный аплодисментами, возразил:

— Сарыкину, между прочим, понравилось!

Петька усмехнулся.

— Потешно у тебя получилось, а он, сам знаешь, любит это.

Семин не стал спорить.

В голове по-прежнему шумело, и все — синее, без облаков небо, умытая росой трава, клейкие листочки, веселые, с расстегнутыми воротниками бойцы — умиляло его. Он вспомнил мать. «По радио, наверное, уже объявили о Победе,— решил Семин.— Мать сейчас тоже радуется». Повернувшись к Петьке, он сказал:

— Скоро демобилизуют нас.

— Держи карман шире! Сарыкин и другие, которые в годах, домой поедут — это точно, а нам еще трубить и трубить.

— Не может быть!

— Хоть так верти, хоть этак — все равно трубить. Если всех по домам распустят, кто ж тогда служить будет?

— Те, кто не воевал!

— А много ли таких? Может, пять, может, десять тыщ наберется. Из них даже дивизию не составишь. А служить все равно надо: границы охранять и все прочее.

Семину стало грустно.

— Может, в отпуск отпустят?

— В отпуск — да,— степенно произнес Петька.

Солнце поднималось все выше. Роса высохла, но земля все еще была влажноватой. Такой она бывает только весной, когда под верхним, обманчиво сухим слоем еще очень много влаги. У самого берега, на отмелях, ходила рыбная молодь. Петька кинул в воду позеленевшую гильзу:

— Рыбы тут невпроворот. Будет время — посидим с удочками. А если сеть достанем, то объедимся ушицей. Страсть как рыбки хочется!

— Давай сейчас ловить! — загорелся Семин.

— Больно ты скорый. Удилище срезать надо, крючки достать...

— И леску,— подсказал Андрей.

— Вместо лески суровая нитка сойдет. У меня в «сидоре» целый моток. А вот крючки не помешало бы найти. Если не пофартит, сами сделаем — из проволоки.

Петька, видимо, уже все обдумал, все решил, и Семин позавидовал его умению заранее все прикидывать, все взвешивать.

— Айда в холодок,— предложил Петька,— а то жарко стало.

Они направились в лес, но в этот момент на полянке снова появился старшина. Сложив руки рупором, он крикнул:

— Становись!..

...«Расстроен лейтенант»,— отметил про себя Семин, следя за Овсяниным. Его лицо было хмурым, набухшие веки свинцово прикрывали покрасневшие от бессонницы глаза, на скулах виднелись пятна, похожие на кружочки только что нарезанной свеклы. Лейтенант был в поношенной, но выстиранной гимнастерке, в сдвинутой на затылок фуражке с блестящим козырьком. Ветка в его руке словно бы плясала. Почки расплющивались, обнажая еще не созревшую сердцевину: коричневатая, в мелких пупырышках кора сползла, древесина влажно блестела. Показалось: с ветки капает сок.

«Расстроен лейтенант»,— снова подумал Семин и пожалел погубленную ветку. Овсянин перехватил его взгляд, с силой хлестнул по сапогу и отбросил ее.

Бойцы стояли, кто как — улыбающиеся, довольные, чуточку хмельные. Гимнастерки были расстегнуты, ремни сидели косо, на подворотничках проступал пот.

— Застегнись и ремень поправь,— сказал лейтенант, проходя мимо Семина.

Тот повиновался. Петька тоже поправил ремень и застегнулся. Стали приводить себя в порядок и другие бойцы.

Остановившись в тени, Овсянин снял фуражку, провел носовым платком по слипшимся, будто обильно смоченным одеколоном волосам.

— На сегодня погуляли — хватит! Там,— он показал на темневший вдали лес,— обнаружены немцы. Среди них эсэсовцы и прочая сволочь. Приказано — прочесать лес.

«Теперь понятно, почему расстроен лейтенант,— решил Семин.— Другие офицеры отдыхать будут, водку пить, а ему работенка».

Петька обрадованно шепнул:

— Немцы драпанули, авось, чего-нибудь бросили.

— Может, аккордеон найдем,— помечтал Андрей: хоть у него и не было музыкального слуха, но он очень хотел заполучить трофейный аккордеон — сверкающий, отделанный перламутром.

Петька подумал.

— Аккордеон навряд ли. А вот какую-нибудь необходимую в хозяйстве мелочь — запросто.

Прозвучала команда «Шагом марш!», и они потопали, перебравшись через речку, к лесу, до которого было на глазок километров семь.

3

Семин воевал в Прибалтике четвертый месяц. Прибыл сюда в начале февраля из госпиталя. В тот день с моря дул теплый, влажный ветер, стройные, похожие на корабельные мачты сосны раскачивались, скрипели, словно жаловались на свою судьбу; снег осел, стал ноздреватым. Около Андрея шагал, то и дело меняя ногу, Петька — они познакомились в теплушке.

— Ты сколько месяцев на фронте пробыл? — спросил Петька, озираясь по сторонам.

Андрею захотелось показать себя бывалым солдатом-фронтовиком, но он не стал врать: в прошлый раз Семин пробыл на передовой всего несколько часов. После первого артналета он был ранен в ногу, и его сразу же отправили в тыл, в госпиталь.

Взвод, в который Семин попал вместе с Петькой, занимал рубеж на «пятачке» между речкой и болотом. За болотом был лес. Уже в марте болото вскрылось, стало дурно пахнуть. В окопах и

блиндажах стояла вода. Все — шинели, гимнастерки, портянки — отсырело, тело покрылось чирьями, после них оставались пятна, похожие на синяки.

За три месяца Андрей так и не привык к сырости, болотным запахам. Раненая нога ныла, чаще всего по вечерам, когда на околы наползал туман. Семин снимал сапог, разматывал отсыревшую портянку, с тревогой ощупывал рубец.

— Стонет? — спрашивал Петька.

— Кто? — не сразу соображал Андрей: слово «стонет» казалось ему не совсем точным.

— Кто, кто,— передразнивал Петька.— Про ногу спрашиваю.

— Есть немного,— признавался Андрей. И поспешно добавлял: — Врачи говорили — срослась кость.

— Они скажут,— туманно отвечал Петька.

— Считаешь, ошиблись? — Семин начинал волноваться.

— Всякое бывает,— уклонялся от прямого ответа Петька и, покосившись на ногу, восклицал: — Спрячь, за ради Христа, свою ходуль в сапог!

Петька не мог смотреть даже на зажившие раны. А от вида крови его мутило: глаза заволакивались, пальцы начинали метаться по борту шинели или по пуговицам гимнастерки.

— Плохо тебе? — наклонялся к нему Семин.

— Отцепись! — отвечал Петька, сморщившись, как от зубной боли.

«Странно,— удивлялся Андрей.— Деревенский парень, казалось бы, привычный ко всему, а на раны смотреть не может. Почему?»

Так и спросил.

Петька сплюнул.

— Хрен знает почему. Не могу — и все!

Раненую ногу Семин ощупывал часто. За этим занятием застал его однажды Сарыкин.

— Боисси отсохнет?

Семин смутился, прикрыл ногу портянкой.

— Не отсохнет! — обнадежил Сарыкин.— А ревматизму, помяни мое слово, наживешь. У меня от этой сыри каждая косточка трещит. Послухай-ка! — Он повел плечами, и Семин услышал легкое похрустывание.— Слышь, малец,— продолжал Сарыкин.— Побитую ногу в тепле держи. Обмотай еще одной портянкой, если сапог впустит.

Семин обратился за второй парой портянок к старшине, но тот рявкнул, глядя поверх него:

— Не положено!

Выручил, как всегда, Петька: в его «сидоре» оказались запасные портянки. Андрей стал кутать раненую ногу, заодно и здоровую...

Километрах в трех от леса началось болото. Семин подумал, что тут, в Прибалтике, сухой земли совсем мало: только низинки, речки да леса, в которых заблудиться — раз плюнуть. Рана «стреляла», идти было трудно. Подошвы скользили на тонких, мокрых жердях, обозначавших проложенную неизвестно кем тропинку. Кочки мягко оседали под тяжестью тела, вокруг них появлялись фонтанчики; болото пускало пузыри, утробно чавкало, жадно хватало соскользнувшую с жердей ногу, цепко держало ее. Приходилось напрягаться, чтобы выдернуть сапог. Отпустив его, болото огорченно чмокало; образовавшееся углубление наполнялось дурно пахнувшей жидкостью — она долго не успокаивалась, булькала, как похлебка в котелке, крутилась маленькими водоворотами.

Край болота упирался в лес. Он вроде бы не приближался: тропинка крутила по болоту, огибала прикрытые обманчиво тонким слоем гиблые места и черные «окна», подернутые маслянистой пленкой.

Бойцы шли цепочкой, растянувшись на целый километр. То и дело доносился охрипший голос Овсянина: «Поднажми!» — но никто не поднажимал, все устали, вымокли, все ругали про себя и вслух начальство, которое послало их прочесывать лес. Однако больше всего бойцы ругали немцев — по всем писаным и неписаным законам им полагалось сдаться в плен, а не скрываться в лесах с оружием в руках. Позади Семина шел Петька, жарко дышал в затылок.

— Закрой поддувало! — рассердился Андрей.

— Не ори,— проворчал Петька, но дышать в затылок перестал.

По болоту топали часа два, то удаляясь от леса, то приближаясь к нему почти вплотную. И, наконец, обогнув озерцо, наполненное торфяной кашицей, вышли к чахлым осинкам, с которых начинался лес,— их отделяла от болота узенькая полоска аспидной воды.

Семин перепрыгнул через нее и оглянулся: бойцы еще огибали озерцо, проваливаясь по колено в топь. Петька снял винтовку, сел, прислонившись спиной к дереву, стянул сапог, вытряхнул из сапога грязь.

— Устал? — спросил Андрей.

— Не шибко, но устал.

— А я нет!

— Чего ж психовал тогда?

— Ты, как паровоз, пыхтел.

— Запыхтишь! — Петька стал разматывать портянку.

Когда все выбрались из болота, Овсянин разрешил передохнуть. Он уже не хмурился — ходил по опушке, заложив руки за спину, весело поглядывал на бойцов, разбившихся на группы.

— Сейчас хохму скажет,— объявил Петька.

И верно. Остановившись возле перепачканных болотной жижей бойцов, Овсянин что-то сказал им. Грянул смех.

— Люблю веселость в людях,— сказал Петька и направился к Овсянину.

Андрей двинулся следом.

Овсянин обвел их нарочито строгим взглядом:

— Представление отменяется!

На Петькином лице появилось такое разочарование, что Овсянин, не удержавшись, фыркнул.

— Веселый мужик,— одобрительно произнес Петька, когда командир отошел.— Ему бы в цирке выступать.

— А ты бывал в цирке?

— Нет,— сознался Петька.— Но слышал про клоунов... Ты-то, небось, в своей Москве часто шастал туда?

— Приходилось.

— Смешно?

— Вопрос!

Петька вздохнул, достал кисет.

— И мне дай,— попросил Семин.

— Ты же не куришь!

— Решил начать.

— Зря.

— Жмотничаешь?

Петька молча отсыпал махорку, стал с интересом следить, как Семин сворачивает «козью ножку». Сворачивал он ее неумело, просыпал курево.

— Давай помогу! — не выдержал Петька.

Ловко свернул «козью ножку», протянул ее Андрею:

— Прикуривай.

Махорка была крепкой. Семин закашлялся.

— Ин-тел-ли-ген-ция,— процедил Петька.

«Мама, наверное, огорчится, если увидит меня с папироской»,— подумал Андрей. Хотел выбросить,

но решил, что с «козьей ножкой» он выглядит солидней.

— Бáлуешься? — спросил, подойдя к Андрею и Петьке, Сарыкин. На его лице не было усталости, глаза смотрели весело.

— Учусь,— ответил Семин и уронил на землю несколько махорочных крупинок, похожих на раскаленные угольки.

— Смотри, малец, пожар не наделай! — Сарыкин затоптал тлеющую махорку.— От такой ерунды и начинает полыхать. Помнишь,— он повернулся к Петьке,— как в сороковом году Барсучьи леса в нашей области горели?

— Помню, дядя Игнат, помню,— заторопился Петька, явно довольный, что Сарыкин заговорил с ним.

— Страшное дело было,— продолжал Сарыкин.— Половину леса как языком слизнуло.

— Помню, помню,— снова сказал Петька.— Мой папаня в тот год бригадиром был. Рожь уже осыпалась, а колхозников на пожар мобилизовали. Председатель волосья на себе рвал: урожай — раз в десять лет такой, а убирать некому.

— Да-а...— задумчиво проговорил Сарыкин.— Урожай в сороковом году богатый был. Если бы не пожар, даже свиней могли бы зерном кормить.

— Папаня то же самое говорил! — воскликнул Петька.

— А сейчас он где?

Петька затоптал окурок, помолчал с многозначительным видом.

— Воюет. Последнее письмо с-под Берлина было.

— Откуда знаешь? — не поверил Сарыкин.— Военная цензура такое не пропускает.

— Намек в письме был,— возразил Петька,— ручаться, конечно, не могу, но, сдается, с-под Берлина писал папаня.

— Эх, мальцы! — доверительно произнес Сарыкин.— Я еще в сорок втором году, когда в госпитале лежал, мечтой себя тешил — Берлин воевать. Не получилось! Как повернули нас в прошлом году на северное направление, понял — не видать ихнюю столицу.

— Всем хотелось Берлин брать,— сказал Семин.

— Верно,— согласился Сарыкин.— Но я на месте Верховного только самых заслужóнных туда направлял бы.

Андрей промолчал: Сарыкин имел право говорить так.

День уже набрал силу. Солнце было как в середине лета. В Москве в такие дни мягчал асфальт, у тележек с газированной водой выстраивались очереди — это Андрей хорошо помнил, потому что любил газировку, пил ее даже в пасмурную погоду. Над болотом клубился парок. Пучеглазые лягушки высовывались из воды, тупо смотрели на бойцов. Неосторожное движение — и они, испуганные, ныряли в воду. На солнцепеках грелись, расправив крылья, большие мухи с белыми точечками на туловище.

С тревожным криком пролетали какие-то птицы— длиннохвостые, с желтоватой грудкой в крапинках, довольно большие.

— Дрозды,— сказал Сарыкин.— Видать, гнезда у них тут, а мы беспокоим.— Он помолчал и добавил: — Птицы эти, как люди, селениями живут. Где одно гнездо, там и другое.— Переведя взгляд на Семина, ефрейтор спросил: — Ты, малец, в деревнях-то жил или только в Москве?

— Жил,— отозвался Андрей.— Каждое лето в пионерский лагерь ездил или на дачу.

Сарыкин хмыкнул.

— Это не то!

Семин подумал, что не смог бы жить без электричества, водопровода, радио, но вслух ничего не сказал.

— Я в Москве ни разу не был,— продолжал Сарыкин,— хотя наша область по теперешним временам от нее пустяк: двадцать часов в поезде — вот тебе и Москва... Скажи, малец, примешь меня, если я в гости к тебе приеду?

— Конечно!

— У тебя в Москве что — комната или квартира?

— Комната. Двенадцать квадратных метров. Но все удобства: водопровод, газ...

Семину было легко, весело, казалось, горы может свернуть. Солдаты счищали с одежды болотную грязь, щелкали затворами, проверяя винтовки, о чем-то вполголоса разговаривали. На их лицах не было напряжения, которое появлялось раньше в преддверии боя. Бойцов как будто бы подменили: они чувствовали себя уверенно и спокойно. Это не удивляло Андрея — самое страшное было позади, никто — ни он, ни Петька — в эти минуты не думал, что где-то еще идут тяжелые бои и гибнут люди. Предстоящая операция по прочесыванию леса воспринималась как прогулка.

— Значит, пустишь, если приеду? — снова спросил Сарыкин.

— Не сомневайтесь!

— А меня? — В Петькином голосе прозвучала ревность.

— И тебя.

— Где ж ты нас уложишь? — засомневался Сарыкин.— Ведь твоя комната — с чулан в моей избе.

— Как-нибудь разместимся!

— Очень мне охота побывать повсюдову,— продолжал Сарыкин.— Кремль охота посмотреть, в Мавзолей сходить. Я покуда все это только в кино видел. Промелькнет на белом — не разберешь.

— Приезжайте! — сказал Семин.— Красная площадь от моего дома — сорок минут езды.

— Близко,— с уважением произнес Сарыкин.

— Мы хоть и не в центре живем, но и не на окраине.

Сарыкин хотел было записать адрес, но прозвучала команда, и все побежали строиться.

4

Бойцы шли цепью в двух-трех метрах друг от друга, винтовки держали наперевес. Справа от Андрея шел Петька. Когда он поворачивал голову, Семин видел круглый стриженый затылок: Петька носил пилотку на свой манер, сильно надвигал ее на глаза. За это ему попадало от старшины. Петька молча выслушивал замечание, поправлял пилотку. Как только старшина отходил, снова возвращал ее в прежнее положение.

— Так форсистее,— утверждал он.

Слева шагал Сарыкин. Андрей только сейчас обратил внимание на его руки, державшие винтовку. Были они большими, непропорциональными росту. Глаза Сарыкина не рыскали по сторонам, как у Андрея и Петьки, смотрели вниз. Семин подумал, что Сарыкину на фронте было тяжелее, чем ему и Петьке, потому что он старый, и подосадовал на себя за то, что не совершил ничего героического, воевал, как сотни других, не хуже и не лучше.

Нагнувшись, Сарыкин подобрал что-то с земли. Стал на ходу рассматривать. Повернувшись к Семину, сказал:

— Ступайте, мальцы, потихонечку, а я — к лейтенанту.

— Куда он? — спросил Петька, когда ефрейтор скрылся за деревьями.

— К Овсянину побежал.

— Зачем?

— Не знаю. Поднял что-то с земли, повертел в пальцах и побежал.

— Видно, знак какой-то нашел,— произнес Петька.— Теперь поаккуратней надо.

— Чепуха! — возразил Андрей.

Он по-прежнему не верил, что будет бой, чувствовал себя, как на прогулке. Ему нравился лес, осыпанный солнечными бликами. Птицы шныряли с ветки на ветку, с дерева на дерево и пели. Их голоса то доносились из глубины леса, то возникали совсем рядом. Птицы щелкали, свистели, выводили такие трели, что хотелось остановиться и слушать. Птицы были частью леса, наполняли его жизнью, которую порой не видишь, только слышишь, потому что для лесных птах каждый лист — плащ-палатка, а расщелина в дереве — блиндаж. Птицы радовались солнцу, теплу, они, видимо, шалели, как и Семин, от запахов весны, от того удивительного воздуха, который пьешь и не напиваешься, который пьянит, заставляет забыть то, что было. Почудилось: окопы, отсыревшая одежда, чирьи на теле — все это только снилось, и вот теперь он, Семин, проснулся и дышит теплым воздухом, наполненным хвойным ароматом.

— Стой! — неожиданно прохрипел Петька, возвращая Андрея к действительности.

Тот остановился.

— Под ноги посмотри!

Семин посмотрел и обмер: в полуметре от него пряталась в травке ржавая проволочка. Чуть подальше виднелась другая, третья, четвертая. «Мама родная! — мысленно ахнул Андрей.— Мины!» — и почувствовал: подгибаются колени. За кустами темнели блиндажи, скрученная в спираль колючая проволока.

— Осторожно, братва!— крикнул он.

— Чего орешь? — откликнулся кто-то.— Не слепые, чай.

— Назад надо,— сказал Петька.

Они попятились. Когда очутились на безопасном месте, Петька спросил:

— Испугался?

— Еще бы!

— Я тоже. Зацепишь такую и — похоронный марш.

— Солдат без музыки хоронят,— машинально произнес Семин.

— Это я так, к слову,— проворчал Петька.

«Вот она, прогулка,— подумал Семин.— Еще бы чуть-чуть и...»

Он вспомнил, как полтора месяца назад после напряженного боя они хоронили двух бойцов и одного сержанта. Выбрали место посуше, вырыли глубокую яму, завернули убитых в плащ-накидки, которые не хотел давать старшина, пришлось обращаться к Овсянину. Петька отворачивался, не смогрел на убитых, а Семин запомнил их лица и теперь подумал, что если бы он задел эту проволочку, то... Убитых Семин вспоминал часто — каждый раз, когда его взгляд натыкался на их могилу: она находилась чуть в стороне от окопов. За полтора месяца могила осела, молоденькая травка росла на ней пучками, как волосы на лице скопца, воткнутый в холмик колышек с дощечкой, на которой были написаны химическим карандашом фамилии убитых, покосился, и Андрей решил в самые ближайшие дни поправить этот колышек и заново написать фамилии убитых, потому что от снега, солнца и дождей надпись наверняка потускнела.

— Давай обойдем...— предложил Петька.

Андрей кивнул.

Они стали обходить минное поле и вдруг увидели: вокруг — ни души.

— Эй? — несмело крикнул Петька.

— Надо громче,— сказал Семин.

Петька вобрал в легкие воздух, снова крикнул. По лесу прокатилось эхо, затерялось далеко-далеко — там, где деревья стояли вплотную, будто стена. Елки были большими, черными, нижние ветки касались земли. Вывороченные с корнями деревья преграждали путь. Из глубины леса пахло холодом.

— Заблудились,— пробормотал Андрей.

— Не трусь! — успокоил его Петька.— По следам нагоним. Я по лесу, как по своей избе, хожу. Пацаном был — далеко ходил по грибы и ягоды.

— Попадет нам от лейтенанта,— подумал Семин вслух.

— Это уж как пить дать! — подтвердил Петька.— В самом смешном обличье нас выставит. Скажет: забоялись и — в кусты.

Андрей представил себе взгляд Овсянина, увидел, как ломаются, сдерживая смех, его губы. Он не сомневался, что лейтенант скажет такое, отчего все бойцы грохнут и будут хохотать до коликов в животе.

— Надо догнать ребят! — забеспокоился Семин.

Петька посмотрел на видневшиеся в гуще деревьев блиндажи.

— Запомнить надо это место. В тех блиндажах, наверное, что-нибудь есть.

— Пошли, пошли,— поторопил Петьку Семин, позабыв в эту минуту даже об аккордеоне.

Они обошли минное поле и, глядя под ноги, направились скорым шагом в глубь леса, куда ушли бойцы. Помятая трава, сломанные ветки и свежие отпечатки на еще не просохшей земле подтверждали — идут правильно. Андрей исцарапался, устал, ушиб больную ногу, стал прихрамывать.

— Обратно застонала? — спросил Петька.

Его голос прозвучал неестественно громко, и Семин только теперь заметил, что в лесу тихо-тихо, даже птицы петь перестали. Это испугало его. Он остановился.

— Ты чего? — Петька тоже остановился.

— Тихо-то как. Даже птиц не слышно.

— В чащобах всегда так. Птицы у опушек держатся, поближе к солнцу.

В Петькином голосе не было тревоги. Это успокоило Семина. На всякий случай он сказал:

— Страшновато все ж.

— Ты...— Петька осекся, что-то поднял с земли.— Глянь-ка!

— Что такое?

— Не видишь разве?

Петька держал окурок. Семин похлопал глазами, неуверенно проговорил:

— Окурок.

— «Окурок, окурок», — передразнил Петька.—Чей окурок-то?

— Чей?

— Фрицевский! Наши ребята сигареты не курят. Овсянин одно время курил, пока трофейные были, а теперь папиросы смолит — сам видел.

— Подумаешь,— пробормотал Андрей.— В этих местах еще вчера немцы были — мало ли тут окурков.

— Овца непонятливая! Окурок-то свежий.

— Почему так решил?

— А тут и решать нечего! Он даже не намок. И пепел на нем, можно сказать, тепловатый. Они,—

Петька выделил слово «они»,— тут недавно проходили. Вот и следы ихние. После наших, сволочи, прошмыгнули. Петляют по лесу, как зайцы.

Семин сжал винтовку, стал озираться. Петька произнес осипшим голосом:

— Похоже, влипли.

— Выкрутимся.

— «Выкрутимся, выкрутимся»,— проворчал Петька.— Может, они сейчас смотрят на нас.

Лучше бы Петька не говорил этого! Семину стало так страшно, что он отступил на несколько шагов, укрылся за елью.

По-прежнему было тихо. Земля пахла снегом. Он, должно быть, растаял тут, под елками, недавно: может, три недели, может, месяц назад. Полуистлевшие иголки оседали под ногами. Андрею показалось, что стоит он не в лесу, на твердой почве, а на болотной зыби. Ни солнечное тепло, ни ветерок — ничто не проникало сюда, в глубину леса, мрачного и таинственного, раскинувшегося неизвестно на сколько километров.

Так они стояли несколько минут, переглядываясь, озираясь по сторонам. Семин напряженно вслушивался в тишину, старался уловить хоть шорох, хоть какой-нибудь звук. Не выдержал и спросил шепотом:

— Так и будем стоять?

Петька не успел ответить — хрустнул валежник. Хрустнул тихо, а Семину показалось — на весь лес. Он вздрогнул, поднял винтовку и сразу увидел немцев. Они шли прямо на него, неловко перелезая через поваленные деревья. На их груди висели автоматы, за ремнями были «вальтеры». Шли немцы осторожно, поглядывая вперед и по сторонам, но ребят не видели — за это Андрей мог поручиться. Он попытался сосчитать, сколько немцев, но сбился: зеленовато-мышиные мундиры то возникали среди деревьев, то исчезали. И вдруг Семин ощутил уверенность. Внутри все стало, как кулак. Мозг начал «выстреливать» мысли. Андрей не чувствовал ни ног, ни рук, не слышал, как стучит сердце, он думал. Он понимал, что от правильного решения, от их находчивости будет зависеть его и Петькина судьбы. Война уже кончилась, думал Андрей, и эти немцы — не рота, не взвод, а всего лишь горстка людей, возможно, обманутых кем-то, а возможно, уклонившихся от сдачи в плен сознательно. Должно быть, прошлое этих людей цепко держит их, напоминает о сожженных деревнях, о виселицах, расстрелах. Они, наверное, боятся расплаты и не хотят понять, что война-то кончилась.

Немцы приближались. Семин уже различал их лица. У одного или двух на щеках были шрамы. Немцы были явно переодеты в чужое: мундиры вермахта на одних сидели мешковато, у других едва прикрывали животы, из рукавов уродливо торчали руки с белой, не тронутой загаром кожей. Судя по всему, переодевались немцы в спешке. И все же стрелять без предупреждения Семин не стал. Повинуясь возникшему в нем чувству справедливости (война-то кончилась!), крикнул:

— Хенде хох!

С елки упала шишка, с мягким стуком легла возле ног — только это успел отметить мозг. Немцы отпрянули друг от друга, будто в них сработали пружины, ударили из автоматов. Но прежде чем они успели скрыться за буреломом, Семин, почти не целясь, выстрелил и, падая к подножию елки, краем глаза увидел: толстый в нелепо сидящем мундире покачнулся и рухнул.

Петька лежал метрах в трех, распластавшись по-лягушачьи. Его взгляд блуждал, губы побелели, будто их вымазали мелом.

Всего полминуты назад в лесу было тихо, а сейчас трещали автоматы, пули, расщепляя кору, впивались в деревья. Точно срезанные бритвой, падали ветки, шишки барабанили по спине. Захотелось отползти, чтобы не ощущать этого, но Семин даже не пытался пошевелиться. Однако страха не испытывал. И не мог объяснить, почему.

Елка, за которой укрывался он, была толстой, надежной. Немцы палили наугад; они, видимо, не засекли, откуда выстрелил Семин. Решив воспользоваться этим, он осторожно поднял винтовку, взял на прицел щель в корнях вывороченного дерева — оттуда без передышки бил автомат,— плавно нажал на спусковой крючок. Автомат тотчас смолк, за деревьями захрустел, ломаясь под тяжестью тела, валежник. «Попал!» — Семин чуть не выкрикнул это.

На несколько секунд немцы смолкли. Потом обрушили на Андрея такой огонь, что показалось: еще немного, и елка переломится. Петька что-то сказал вполголоса и пополз в сторону.

— Куда? — прохрипел Семин.

— Соображай!

«Отвлечь на себя хочет»,— догадался Андрей и взволнованно подумал, что с Петькой не пропадешь.

Гулко прозвучали винтовочные выстрелы. Снова наступила короткая пауза, после чего немцы стали палить туда, где находился Петька. Семин переполз на другое место. По автоматным очередям, наконец, определил: немцев — восемь, не считая убитых. Вспомнил про гранаты — они лежали в подсумке. Стараясь не производить шума, пополз к бурелому. Полз осторожно, чтоб и веточка не хрустнула. Нательная рубаха и гимнастерка порвались, Андрей ощущал телом прикосновение иголок, временами становилось щекотно. Вот он — бурелом. Прикинул на глазок, долетят ли гранаты. Размахнувшись, бросил одну за другой три «лимонки», как учили это делать в запасном полку. Когда пороховой дым растворился, из-за деревьев появились немцы, держа в руках носовые платки. Двое из них были ранены.

— Прикрой,— громко сказал Петька и, поднявшись во весь рост, смело направился к немцам...

5

Бойцы подоспели минут через десять, когда немцы были уже разоружены. Петька пнул ногой сваленные в кучу «шмайссеры», сказал, обращаясь к Сарыкину:

— Запасливыми оказались, дядя Игнат. У каждого по два автомата было.

Ефрейтор произнес весело:

— По медальке заработали, мальцы!

— Ну-у...— не поверил Петька.

— Точно! — подтвердил Сарыкин.

Семин был как выжатый лимон. Подгибались колени, тело казалось налитым свинцом. Пленные сбились в кучу, словно овцы. По выражению их лиц трудно было определить, о чем они думают. И вдруг Андрей перехватил злобный взгляд. Этот взгляд был быстрым, как вспышка молнии. «А ведь они могли убить нас»,— подумал Андрей. Захотелось схватить автомат и...

— Чего заводишься? — осадил его Петька.

— Паразиты... они.

Петька сплюнул.

— Только сейчас допер?

Застегивая на ходу ворот гимнастерки, к ним направился Овсянин. Семин с Петькой рубанули к нему навстречу строевым.

— Отставить! — сказал Овсянин, когда они начали рапортовать.

«Сейчас даст»,— решил Семин.

— Всыпать вам, чертям, стоило бы! — весело проговорил Овсянин. Приподняв над головой фуражку, он провел носовым платком по взмокшим волосам и добавил: — Но победителей, как говорится, не судят... Заблудились, что ли?

— Так точно, товарищ лейтенант! — подтвердил Петька.— Когда на мины наскочили, забоялись маленько. Стали обходить и...

— «Забоялись, забоялись»,— передразнил Овсянин.— Струсили, выходит?

— Ну!

Овсянин фыркнул, нахлобучил фуражку, повернулся к Андрею:

— Ты тоже струсил?

— Тоже, товарищ лейтенант.

Овсянин изобразил на лице веселый ужас.

— А еще земляк! Сказал бы, страшновато было. А то — струсил!

— Разве это не одно и то же?

— Конечно, нет.

Семин недоверчиво хмыкнул.

— Трусость и страх — разница,— объяснил Овсянин. И добавил: — А в общем, молодцы!

Ребята вытянулись, гаркнули в один голос:

— Служим Советскому Союзу!

Овсянин снова снял фуражку, обмахнулся, взглянул на Семина:

— Москву-то вспоминаешь?

— Каждый день.

— Я тоже.— Овсянин помолчал и продолжил: — Больше всего Сокольники люблю. По выходным отдыхать туда ездил.

— А я в ЦПКО имени Горького гулял. От моего дома этот парк близко. Вы бывали там?

— Три раза. Первый раз, когда метро открыли. Помнишь,— Овсянин оживился,— в метро тогда, как на экскурсию, ходили.

— Смутно помню.

— Ты с какого года?

— С двадцать шестого.

— Тебе тогда девять лет было.

— Разве метро в тридцать пятом открыли?

— В тридцать пятом. Москвичу это знать надо.

Как из тумана выступило прошлое: Андрей в матроске, принаряженная мать. Они выходили из поезда на всех остановках. На «Дзержинского» поднялись по эскалатору, потом спустились и поехали дальше. В Москве то лето было жарким, но в метро жара не ощущалась — в памяти осталась приятная прохлада. Мать восхищалась архитектурой станций, а Андрей ждал обещанного мороженого, провожал завистливыми взглядами мальчишек и девчонок с эскимо в руках.

— Все вспомнил, товарищ лейтенант! — воскликнул он.

Овсянин улыбнулся, довольный.

Сарыкин и Петька слушали их с напряженным вниманием. Когда Овсянин собрался уходить, Сарыкин обратился к нему:

— Дозвольте спросить, товарищ лейтенант?

— Спрашивай.

— Награда им выйдет? — Сарыкин кивнул на Семина и Петьку.

— Какая награда?

— По медальке вполне можно,— со значением произнес Сарыкин.

— За что?

— Как-никак бой был. Двоих уложили, двоих поранили, остальных в плен забрали.

Не скрывая насмешки, Овсянин посмотрел на Андрея и Петьку.

— Разве это бой? Если за такие бои всем награды выдавать, то серебра не хватит на ордена и медали.

Андрей и Петька переглянулись.

— Туман он напускает,— заявил Сарыкин, когда лейтенант ушел.

— Навряд ли, дядя Игнат.— Петька был огорчен.

— Шиш получим! — сказал Семин, хотя думал по-другому.

Почему-то казалось: Овсянин сегодня же заполнит наградные листы.

— Давеча адресок твой не успел записать,— обратился к Семину Сарыкин и вынул из кармана замусоленный блокнот.

Андрей скороговоркой продиктовал домашний адрес. Ему не терпелось рассказать Сарыкину, как он увидел немцев, как выстрелил, почти не целясь, в самого толстого и попал, как барабанили по спине шишки, как вспомнил про гранаты и пополз к бурелому, но его опередил Петька.

— Ты, видать, от страха чуть в штаны не наложил.

— Я?

— Ну!

— Это у тебя губы прыгали, а я...

— Рассказывай! — перебил Петька.— На твоей роже ни кровинки не было.

— Чего ты врешь? — забеспокоился Андрей и обозлился на Петьку, что тот говорит такие слова при Сарыкине.

Ефрейтор рассмеялся.

— Цыц, мальцы! Во время боя личность всегда меняется — неужто только сегодня приметили? Что внутри происходит, то и на личности обозначается. И ничего такого в этом нет. Была бы совесть чиста.

Семин вспомнил, как во время боя то каменели, то покрывались потом лица однополчан, их носы заострялись, глаза то суживались, то расширялись, на запекшихся губах появлялись капельки крови. Соглашаясь с Сарыкиным, он кивнул.

Закончив дела, к ним снова подошел Овсянин:

— Отдышались?

— Так точно!

— Тогда вот что.— Командир сразу стал серьезным.— Отведите этих,— он кивнул на пленных,— в штаб. На всякий случай по трофейному автомату захватите.

— В штаб полка вести? — уточнил Петька.

— Лично комдивом было приказано: всех пленных к нему. Знаете, где это?

— Где?

— В Леплавках. Отсюда километров десять.— Овсянин достал карту, показал маршрут.— Только без глупостей, ребята! Головы поотрываю, если хоть волосок с пленных упадет.

— Нужны они нам...— проворчал Петька.

Семин снова перехватил злобный взгляд и подумал: «За этим гадом надо следить и следить».

Овсянин и Сарыкин пожелали им легкой дороги, и они двинулись в путь.

Вначале в лесу было тихо. Потом, когда в просветах между деревьями мелькнуло болото, поднялся ветерок. Гибкие ветки берез стало относить в сторону, еловые лапы зашевелились, словно живые; прошлогодние, еще не успевшие сгнить листья, спрессованные сыростью, оторвавшись от верхнего слоя, нехотя покатились к стволам деревьев и трухлявым, источенным личинками пням, прилипли к ним, будто приклеились. Вода на болоте покрылась морщинками, еще не окрепшая осока окуналась в черные, заполненные жидким торфом «окна». Вытянув

шею, пролетела птица — большая, с зеленовато-коричневым оперением.

— Селезень,— сказал Петька и поднял винтовку.

— Не стреляй,— остановил его Андрей.

— Почему?

— Пусть летит.

— Зажарить бы — за уши не оторвешь.— Петька причмокнул.— Ты охотился когда-нибудь?

— Нет.

— А я охотился! В наших краях уток тьма.

Семин вдруг ощутил голод и подумал, что пахнущая дымком дикая утка, должно быть, очень вкусна.

— В наших краях все охотники,— продолжал Петька.— Земля у нас бросовая, больше семи центнеров с гектара никогда не получали. Засыпим закрома, а самим — фига. Только огородами, охотой и жили. Да еще рыбой. Озер и речек в нашей области тоже много. Я с удочкой не расставался. Маманя каждый день уху варила.

Андрей сглотнул слюну.

— Кончай! Жрать хочется — даже в голове мутится.

Петька запустил руку в карман.

— Сухарь хочешь?

— Хочу.

— На.

Семин быстро смолотил сухарь, попросил еще. Петька не дал. Андрей решил, что его друг все же немного скуповат. Петька, видимо, догадался, о чем думает Семин, сказал:

— Не могу жить, чтоб один день густо, а другой— пусто.

Долговязый немец кинул взгляд на болото, что-то сказал. Семин посмотрел туда, куда только что смотрел немец. Там лежал полузатопленный труп с посиневшим лицом. Это был солдат — тоже пехотинец. Каблуки упирались в дно: оно виднелось сквозь толщу отстоявшейся воды — мохнатое, покрытое ржавым налетом. Тускло поблескивала вырезанная из жести звездочка. Шинель с подпалиной на рукаве, маленькой дырочкой на груди набухла, казалась свинцово тяжелой. Глаза солдата были открыты — он смотрел в небо, по которому плыли облака.

— Дела-а,— пробормотал Петька.

Немцы залопотали что-то. По их встревоженным голосам чувствовалось — напуганы.

— Похоже, они этого парня кокнули,— сказал Семин.

Петька кивнул.

— Похоронить бы.— Андрей посмотрел на него.

— Боязно.

— Значит, пусть так лежит? — вспылил Андрей.

Петька снял пилотку, зачем-то подул на звездочку, потер ее рукавом.

— У меня в голове план образовался.

— Какой план?

— Пусть фрицы его вытаскивают. И могилу пусть роют.

Петькин план Андрею понравился. При помощи жестов они объяснили пленным, что от них требуется. Немцы закивали, торопливо подошли к убитому.

— Только осторожней! — крикнул им Петька.

Немцы, должно быть, поняли, вытаскивали труп бережно, изредка бросали друг другу какие-то слова.

— Сюда! — Семин показал на травку у куста. Опустившись на колено, обшарил карманы убитого. Вынул размокшую солдатскую книжку, комсомольский билет, письма с размытыми чернилами, поблекшую фотокарточку молодой женщины.

— Взгляни-ка! — Он протянул фотокарточку Петьке.

Тот, переборов неприятное ощущение, нехотя взял ее.

— Симпатичная. Должно быть, невеста.— Петька помолчал.— А может быть, жена.— Возвращая фотокарточку Андрею, посоветовал:—Положи ее с ним— так для него лучше.

Семин снова подумал, что солдата убили эти немцы, и, повернувшись к ним, строго спросил:

— Ваших рук дело?

Немцы не поняли. А может, сделали вид, что не поняли.

— В штабе разберутся! — предупредил их Семин.

Где-то в вышине задзинькала синица. Андрей хотел было закрыть убитому глаза, но подумал: «Пусть посмотрит последний раз на небо». Смерив малой саперной лопатой рост убитого, приказал немцам рыть могилу.

Лопата была одна — немцы работали поочередно. Были они сильными, и работа у них спорилась. Семин поглядывал на убитого: «Еще утром казалось: ни смерти теперь, ни печали, а на деле получилось вот что». Петька, держа винтовку наперевес, не сводил глаз с пленных. Встретившись со взглядом Андрея, виновато пояснил:

— Тоскливо чего-то.

— А мне, думаешь, весело? — вздохнул Семин.

Когда немцы закончили работу, ребята наломали еловых ветвей, бросили их на дно могилы, показали жестами пленным, что теперь надо опустить солдата туда.

Где-то в стороне шумел дрозд, дзинькала синица, тихо и нежно посвистывала какая-то птица. В ее флейтовых посвистах была грусть.

— Кто поет? — обратился Андрей к Петьке, растроганный этим негромким мелодичным пением.

Тот прислушался.

— Реполов.

— Не слыхал про такую птицу.

— Коричневатая она, с красноватой грудкой,— объяснил Петька.

— Не слыхал.

Они постояли с непокрытыми головами около могилы, затем отошли в сторону и закурили. Андрею было тоскливо. Он представил себе мать убитого: «Она даже не подозревает о смерти сына». Увидел почтальона с похоронкой в руке, с виноватым выражением глаз, услышал плач, испуганные голоса соседей и решил: «В нашем доме произошло бы то же самое, если бы убили меня». Выступили слезы.

— Махорка очень крепкая,— сказал он и провел запястьем по глазам.

— Крепкая,— согласился Петька.

Один из немцев — тот, кто кидал злобные взгляды, вдруг прыгнул в сторону и, петляя, ринулся в глубь леса.

— Стой! — Петька схватил винтовку.

Семин вскочил и помчался за немцем. Петька что-то прокричал ему вслед, но что — Андрей не разобрал. Бегал Семин быстро, никогда не уставал и, если бы не больная нога, то, наверное, смог бы пробежать без отдыха километров десять, а может, и больше. Рана, как на грех, «стрельнула» и так сильно, что Андрей поморщился. Захотелось остановиться, стянуть сапог, ощупать рану — это всегда приносило облегчение, но Семин подумал, что тогда немец уйдет, и, превозмогая боль, поднажал. Ветки хлестали по лицу, под сапогами ломался валежник. Андрей настигал немца. «Еще немного»,— ободрил он сам себя и вдруг с ужасом вспомнил, что у него ни винтовки, ни автомата, даже перочинного ножа нет. В спешке он оставил винтовку у дерева, а когда



снял автомат — не смог вспомнить. Трофейный автомат все время висел у него на груди, Андрей даже теперь ощущал шеей его тяжесть, а час назад, ведя пленных, думал: «Маленький, дьявол, а тяжелый!»

Испугавшись, Семин остановился. Немец затравленно оглянулся и тоже остановился. Потом, осклабившись, поманил Андрея пальцем:

— Комен, комен, рус!

«Видит, собака, что я без оружия». Андрей сунул руку в карман.

Немец замер. В куцем мундире он походил на гориллу — широкоплечий, мускулистый, длиннорукий.

Несколько минут они не сводили друг с друга глаз. Затем немец снова осклабился:

— Комен, комен, рус!

Семин хотел было позвать на помощь Петьку, но понял: «Не услышит. А если и услышит, все равно не сможет прибежать, потому что с пленными».

Немец был массивней Семина. «Что делать?» Андрей собрался было повернуться и задать стрекача, но понял: сраму тогда на всю жизнь хватит.

— Комен, комен, рус! — повторял немец.

Семин молча глядел на него, не вынимая руки из кармана. Это, должно быть, озадачило немца. Он что-то прокричал, показывал рукой туда, где был Петька с пленными, резко повернулся и зашагал прочь. «Боишься!» — обрадовался Андрей и, обретая уверенность, сказал не очень громко, но и не тихо:

— Хенде хох!

Немец выругался, поднял палку.

Андрей сделал то же самое. Тонкий конец палки оказался в его руке, на толстом был уродливый выступ. Палка оттягивала руку. «Хорошо, что тяжелая»,— решил Семин и, рванувшись к немцу, нанес удар. Немец увернулся: палка рассекла воздух, зацепилась за ветки — Андрей чуть не выронил ее. Воспользовавшись этим, фашист размахнулся. Если бы Семин не отскочил, ему пришлось бы плохо. «Сволочь!» Изловчившись, он пнул немца ногой в живот. Тот согнулся. Андрей занес палку, но на какую-то долю секунды немец опередил его, и они, выронив «оружие», покатились по земле.

От немца пахло нестиранным бельем. Он сразу навалился на Андрея, захрипел, забормотал что-то. Семин пытался лягнуть его, но ноги лишь молотили воздух. Немец хотел вцепиться в шею. Андрей чувствовал его пальцы. Правая рука Семина была подвернута за спину, левую немец прижимал к земле. Мотая головой, Семин медленно высвобождал правую руку. Когда это удалось, он на-

нес ему короткий удар промеж ног. Немец взвыл, и Андрей выскользнул из-под него. Не давая немцу опомниться, сильно ударил его палкой по голове. Убедившись, что тот без сознания, связал ему руки...

6

— Телок безмозглый,— взволнованно проговорил Петька, когда Семин подвел к нему изрядно помятого, с запекшейся на волосах кровью и скрученными руками немца.— Я тебе, обормоту, крикнул: «Автомат возьми!» — а ты, как глухой.

— Не расслышал, Петь.

— «Не расслышал, не расслышал». Я думал, что твоя душа уже в раю.

— Обошлось.— По-прежнему «стреляла» нога и ныло лицо.

— Как он тебя разукрасил,— посочувствовал Петька.— Вся рожа в синяках — даже смотреть страшно. Водицей смочи — полегчает.

Болото чавкнуло, когда Семин наступил на обманчиво твердую кочку; травяной покров стал оседать. Андрей едва успел схватиться за куст.

— Не утопни, черт!— забеспокоился Петька.— Сам выберешься или помочь?

— Сам.

Когда Андрей выбрался, Петька посоветовал:

— На тверди стой и умывайся.

Пахнущая тиной вода была тепловатой. Лицо пылало, и каждый раз, дотрагиваясь до него, Андрей испытывал боль. Вытираясь на ходу подолом гимнастерки, поспешил к Петьке.

— Как же ты совладал с ним? — спросил тот, кивнув на немца.

Семин рассказал.

— Оплошал фриц.— Петька усмехнулся.— Видать, на силу свою понадеялся. Страху-то, небось, натерпелся!

— Кто?

— Ты!

— Ничего подобного,— запротестовал Андрей.

— Ври.

— Честное слово! Это уже потом, когда он связанный лежал, не по себе стало. Глядел на него и не верил, что справился с ним.

— Развяжем фрица или пускай так идет? — спросил Петька.

— Пускай так.

— Правильно,— согласился Петька и предложил покурить.

Разглядывая пепел, задумчиво произнес:

— Давно собираюсь спросить: у тебя есть симпатия?

— Девушка, что ли?

— Ну!

Семин вспомнил своих одноклассниц. Некоторые из них нравились ему — иногда день, иногда неделю, реже месяц. Потом чувство исчезало, словно его и не было. Вспомнил озорную девчонку, с которой работал до ухода в армию в ремонтно-механической мастерской. Они часто переглядывались, три раза сходили в кино, а через месяц выяснилось: у нее есть парень — солдат, она сама сказала об этом Андрею. Он огорчился, но ненадолго. Через несколько дней успокоился, встречаясь с девчонкой взглядом, улыбался ей, однако в кино не приглашал. В госпитале на него произвела сильное впечатление молоденькая медсестра с чуть раскосыми глазами. Семин пытался приударить за ней, но товарищ по палате сказал, что она замужем, познакомилась с будущим мужем тут, в госпитале, а теперь он на Втором Украинском фронте. Андрей еще никого не любил по-настоящему, хотя ему часто казалось — влюбился до гробовой доски.

Он честно рассказал Петьке обо всем этом.

— А мне нравится одна,— признался тот.— Уже три года нравится. С нашей деревни она. Вместе на ферме работали: я — скотником, а она — учетчицей. К ней многие парни, постарше меня, клинья подбивали, а она соблюдала себя. До войны была — глядеть не на что. А потом такой королевной стала, что не подступишься. Маманя удивлялась: на отрубях да капусте живем, а Маруська-то вон какая!

— Встречался с ней? — полюбопытствовал Андрей.

— Гулял, что ли?

— Можно и так сказать.

— Нет.— Петька вздохнул.— Робел. Бывало, как увижу, язык к глотке присохнет и ноги подкашиваются.

— Значит, она ни о чем не догадывается?

— Наверное. Но,—Петька приободрился,—неделю назад письмо было от младшей сестренки: Маруся-де поклон шлет, интересуется, как ты. Я намек сделал. Сестренка у меня сообразительная, сама догадается, что сказать Марусе.— Петька помолчал.— Домой вернусь — сватов к ней пошлю!

— Сразу?

— Сразу.

— А вдруг она не согласится?

Петька помрачнел:

— Тогда лучше не жить!

Семин рассмеялся. Пленные с недоумением уставились на него. Петька засопел.

— Я тебе, как другу, душу вывернул, а ты: ха-ха-ха.

— Не сердись, Петь.

— Пра-слово, не жить мне без нее!

Андрей подумал: «Маруся, наверное, присушила его по-настоящему»,— и пожалел, что у него нет девушки, о которой бы он тосковал, к которой бы тянулся сердцем.

— Вот так-то,— пробормотал Петька.

— Будет порядок, как в танковых войсках! — утешил его Семин.

Солнце уже заходило. Оно висело над болотом— там, где виднелись маленькие островки, поросшие чахлыми осинками. Казалось, еще мгновение, и от соприкосновения с солнцем болото зашипит. Из глубины леса надвигался синеватый воздух. Стало прохладно.

— Весной всегда так,— сказал Петька.— Днем теплынь, а к вечеру мурашки высеиваются.— Он посмотрел на немцев и добавил:— Успеть бы до ночи доставить их.

— Успеем,— обнадежил Андрей.

Лицо у него было опухшим — он чувствовал это,— но уже не болело, а вот нога ныла по-прежнему. И особенно сильно, когда он ступал на нее. Поэтому Семин припадал на здоровую ногу, шел вперевалочку.

— Все стонет? — спросил Петька.

Андрей кивнул.

— Уже близко.— И показал на мелькнувшую среди деревьев дорогу.

Петька обрадовался, крикнул пленным:

— Чего, как телки, плететесь? А ну, шире шаг!

Дорога шла вдоль болота. Она то прижималась к нему, то отступала на несколько десятков метров в лес. Середина была изрыта копытами, в глубоких, словно маленькие траншеи, колеях темнела еще не просохшая грязь. Там, где дорога уходила

в лес, деревья сплетались над ней, образуя что-то очень похожее на туннель.

Из-под земли выпирали корни со шрамами от колес.

У болота дорога была бугристой — небольшие сплюснутые кочки.

Так они прошли с километр. Потом дорога неожиданно вильнула и, вырвавшись из леса, побежала по вспаханному полю к видневшемуся у реки местечку с каменным костелом в центре, уютными домиками.

Издали все домики казались одинаковыми, но, подойдя поближе, Семин и Петька обнаружили, что среди них много ветхих, крытых потемневшей от времени и непогоды соломой. Над крышами клубились дымки. Петька потянул носом, авторитетно заявил:

— Парным молоком пахнет! Должно, только что дойка прошла.

Андрею мучительно захотелось молока. Последний раз он пил молоко в госпитале. Оно было кипяченым, и Андрей, сделав глоток, отодвинул стакан: кипяченое молоко он с детства терпеть не мог.

— Хорошо бы сейчас парного молочка с черным хлебом! — помечтал Семин.

— Сообразим! — откликнулся Петька, и Андрей подумал, что его друг в лепешку расшибется, но раздобудет молоко.

Неподалеку от местечка дорога, по которой шли ребята, влилась, словно ручей в реку, в другую дорогу, более широкую.

Немцы по-прежнему едва переставляли ноги, и Петька наконец не выдержал — двинул одного из них прикладом:

— Шевелись!

Местечко имело всего две улицы — они пересекали одна другую под прямым углом. Костел находился на стыке этих улиц. С одной стороны к нему примыкал сад, в котором только что отцвели яблони: на деревьях еще висели лепестки, похожие на снежинки, запутавшиеся в ветвях. Земля в саду была белой, издали казалась припорошенной снегом. Часть дороги, перед фасадом костела, была вымощена, и не каким-нибудь булыжником, а обтесанными, хорошо пригнанными один к другому камнями. Поверхность этих камней, видимо, была когда-то гладкой, а теперь ее покрывали трещинки и выбоины.

За костелом было кладбище — виднелись кресты и надгробья.

И хотя костел находился в центре местечка, он не был окружен домами — они располагались в стороне. Между домами и костелом оставалась «нейтральная полоса» — лужайка, покрытая молоденькой травкой. Она была такой красивой, что проходящие мимо солдаты даже не ступали на нее.

Было шумновато. Где-то гнусавил патефон. Жиденький тенорок Вадима Козина рассказывал про Машу у самовара. Тренькала балалайка, взвизгивала гармонь, хрипловатые, простуженные голоса невнятно выкрикивали частушки — каждая припевка сопровождалась хохотом и одобрительными возгласами. Придерживая руками подсумки, пробегали посыльные. Один из них — молоденький солдатик с пушком над губой — остановился и храбро спросил Петьку:

— Кого пымали?

— Не видишь разве? — огрызнулся тот.

— А-а...— с понимающим видом отозвался солдатик и затрусил по дороге, поднимая нагретую солнцем пыль.

Опускался туман. Семин подумал, что очень скоро пыль остынет, станет чуть влажноватой и не будет вспархивать, как сейчас.

Около кирпичного, в пять окон дома курили офицеры. С противным скрипом распахнулась дверь, с высокого крыльца скатился черноволосый щеголь лейтенант. Подбежал к Семину и Петьке, спросил отрывисто, сомкнув на переносице густые, будто нарисованные углем брови:

— Откуда?

Петька доложил.

— Подождите! — Щеголь лейтенант повернулся и резко зашагал к дому.

— Видать, адъютант,— сказал Петька.

— Факт! От него даже одеколоном пахнет.

— Ну-у?

— Как от женщины.

Щеголь лейтенант Андрею не понравился: был он таким же молодым, как Семин и Петька, может, на год старше, а важности на себя напускал — на десятерых хватит.

— Я таких...— Петька осекся: снова скрипнула дверь.

Кивнув на ходу расступившимся офицерам, к ребятам направился в сопровождении щеголя лейтенанта молодцеватый полковник. Семин никогда не видел командира дивизии, только слышал про него, и теперь решил: «Он!»

Полковник был полный, но не грузный, пожиже Овсянина, а ростом на целую голову выше. Андрей и Петька вытянулись, щелкнули каблуками. Посмотрев на пленных, полковник спросил:

— Почему один связан?

— Убечь хотел! — Петька рассказал, как было дело.

Полковник перевел взгляд на Семина:

— Это он тебе фонари наставил?

— Так точно!

— Ему, вижу, тоже досталось.

— Так точно!

— Как же тебе удалось справиться с ним?

— Справился!

— Добро! — Полковник кивнул. — Документы пленных при вас?

Петька вручил ему документы. Полковник стал перелистывать их. Заинтересовался каким-то удостоверением. Поднял глаза на связанного фрица, о чем-то спросил его по-немецки. Тот что-то процедил.

— Молодцы, ребята! — воскликнул полковник.— Эсэсовца поймали.

Передав документы щеголю лейтенанту, комдив приказал Петьке развязать пленного. Подозвал капитана, стоявшего среди офицеров у крыльца. Отойдя с ним в сторону, что-то сказал. Тот вызвал автоматчиков и ушел вместе с пленными.

В окнах зажигались огни керосиновых ламп. По-прежнему тренькала балалайка. Поклонник Вадима Козина гонял все ту же пластинку. Туман был — как разбавленное водой молоко.

— Значит, ты первого немца уложил? — обратился к Семину полковник.

— Так точно!

— И эсэсовцу уйти не дал, хотя без оружия был?

— Так точно!

— Чего ж ты без винтовки-то побежал?

— Сгоряча.

Комдив усмехнулся, подумал.

— За смелость и находчивость представляю вас, ребята, к правительственным наградам! Тебе,— полковник взглянул на Петьку,— Отвагу, а тебе,— он подмигнул Семину,— Славу...

7

Награды вручили через пять дней. Овсянин поздравил ребят:

— До вечера свободны!

Петька скосил глаз на медаль. Сказал Семину:

— Обмыть бы надо.

— Чем?

— Было бы желание, а это дело найдется.

И он исчез. Пропадал часа два. Вернулся сияющий.

— Порядок!

— Достал?

— Порядок! — повторил Петька и провел рукой по фляжке, оттягивавшей ремень.

— Водка?

— Самогон! Его тут море. Я трофейные часики обменял.— Петька подумал.— Дядю Игната позвать надо, он это угощение уважает.

— Обязательно!

Сарыкин был легок на помине. Подошел, церемонно пожал ребятам руки:

— Причитается с вас, мальцы!

— Само собой, дядя Игнат,— степенно произнес Петька и с важным видом похлопал по фляжке.— Первачок! Когда наливали, теплым был.

— В хутор бегал?

— Ну.

— Далеко.— Сарыкин защепил пальцами ноздрю, вздохнул.

— Попразднуйте с нами, дядя Игнат! — сказал Петька.

Сарыкин снова вздохнул.

— Не могу.

— Почему?

— В штаб полка сходить надо, узнать насчет демобилизации.

— Уже? — воскликнул Семин.

— Слух идет.— Сарыкин снял пилотку, пригладил реденькие волосы.— Поначалу баб и нас, старослужащих, по домам распустят, а там, глядишь, и другим черед подоспеет.

— Другим — да,— уныло согласился Петька.— А мне и ему,— он кивнул на Семина,— еще трубить и трубить.

— Ты тоже с двадцать шестого? — обратился к нему Сарыкин.

— Ну.

— Выходит, зеленые вы оба.

Андрей и Петька переглянулись. Они считали себя умудренными жизнью, все повидавшими и все познавшими, с пренебрежением говорили о своих сверстниках, не нюхавших пороха, и даже на взрослых мужчин в гражданской одежде посматривали свысока.

— Зеленые,— повторил Сарыкин,— хотя и пришлось вам хлебнуть. Небось, мерекаете сейчас,— городит дядя Игнат, хрен старый.

— Ничего подобного,— пробормотал Семин и покраснел, потому что ефрейтор сказал правду.

— Мерекаете! — Сарыкин усмехнулся.— Вот когда воротитесь домой, поженитесь, обзаведетесь детишками, тогда, глядишь, поймете, что такое настоящая жисть.

— Уже поняли,— сказал Семин.

Сарыкин помотал головой.

— Война — не жисть. Жисть — это когда пашут, камни кладут, за скотиной смотрят, ситец выделывают. А война — это...— Не найдя подходящего слова, он пошевелил пальцами.— Будь моя воля, я бы всех, кто войну зачинает, кверху ногами вешал.

— Как Муссолини? — Семин хотел показать свою осведомленность.

— Вот-вот,— Сарыкин кивнул. Помолчав, добавил: — Я, мальцы, уже душой дома, в деревне. Прикрою глаза — детишков вижу. Четверо их у меня — парень и три девки. Самой старшей восемнадцать исполнилось, а парню аккурат через месяц четырнадцать будет. Если с демобилизацией задержки не произойдет, как раз поспею. Вот я и решил к знакомому писарю сходить вроде бы как на разведку. Они, писаря, все знают, потому что около начальства.

— Завтра можно сходить,— сказал Андрей.

— Уговор на сегодня был,— возразил Сарыкин.

— Жаль.

Ефрейтор посмотрел на фляжку.

— Не горюйте, мальцы! Вам же больше достанется.

Петька отстегнул фляжку, протянул ее Сарыкину:

— Отведайте, дядя Игнат!

Тот бережно принял фляжку, отвинтил крышку, понюхал:

— Хлебный!

— А еще какой бывает? — полюбопытствовал Семин.

— Темнота! — опередил Сарыкина Петька.— Самогон из всего гонят.

— Самый лучший — хлебный! — сказал ефрейтор.

Он обтер горлышко рукавом, запрокинул фляжку над головой и долго не отрывался от нее.

— Хорош! — объявил он, возвращая фляжку Петьке. Заметив в глазах Андрея беспокойство, добавил:— Не тревожься, малец. Мне этого добра много требуется, чтоб опьянеть. А вы поаккуратней будьте. Самогон крепкий — градусов шестьдесят. Овсянин насчет этого дела строгий. Заметит, что в хмелю, взыскание наложит. Один раз он даже меня не помиловал.

Петька встряхнул фляжку.

— Немного тут осталось.

Сарыкин усмехнулся:

— Жалеешь, что угостил?

— Это я так, к слову,— поспешно сказал Петька.

Сарыкин погрозил ему пальцем. Его нос приобрел лиловатый оттенок, глаза влажно заблестели.

— Веселого вам гулянья, мальцы! — сказал ефрейтор и зашагал прочь.

Петька откупорил фляжку заглянул внутрь.

— Здоров пить дядя Игнат — меньше половины осталось.

— Достаточно с нас.

— Охота как следует обмыть.

— Учти,— предупредил Семин,— без закуски я пить не стану. Надо хоть кусок сала раздобыть.

— На кой оно нам! — Петька ухмыльнулся.— Рыбы наловим.

— Как?

Петька извлек из кармана четыре «лимонки».

— Шарахнем в реку — вот тебе и уха!

Семин вспомнил, как две недели назад во время последнего артналета три снаряда угодили в реку, замутив воду. На поверхность тотчас всплыли брюхом вверх рыбешки. Петька сказал тогда, лизнув языком пересохшие губы: «Голыми руками бери. Кабы не обстрел, сиганул бы за ними».

...Река петляла по лесу, уходила то вправо, то влево, иногда становилась очень узкой. В этих местах вода вспенивалась, переливалась с журчанием через позеленевшие камни и покрытые слизью коряги. Берега были обрывистыми, деревья подступали к самой воде. Виднелись корни, судорожно вце-



пившиеся в землю. Изредка попадались самодельные мосточки — перекинутые с берега на берег бревна.

День был ветреный, прохладный, совсем не такой, каким он был пять дней назад — девятого мая. За эти пять дней погода менялась несколько раз. Иногда сияло солнце, но чаще небо заволакивали тучи и начинался дождь — мелкий, по-осеннему холодный. И тогда смолкали птицы, деревья стояли понуро, с влажных листьев стекали капли, в полураспустившихся одуванчиках застывала, будто ртуть, вода. Когда же с утра было солнце, все — деревья, трава, птицы — оживало. От прогревшейся земли поднимался пар, листья и трава быстро подсыхали, птицы не смолкали ни на минуту.

Каждый день бойцы прочесывали лес — то один квадрат, то другой, то третий. Немцев больше не встречали.

— Все,— утверждал Петька.— Видать, пять дней назад мы последних поймали.

— Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь,— возражал Сарыкин.

Овсянин был озабочен, часто хмурился, не останавливался, как прежде, послушать, когда кто-нибудь из бойцов начинал травить, и сам не рассказывал смешные истории. Сарыкин сказал Андрею и Петьке, что у командира неприятности, что в окрестных лесах до сих пор скрываются банды, а выловить их не удается, поэтому-де Овсянину и другим командирам достается от начальства. Петька недоверчиво хмыкал, говорил, что, если бы были немцы, то в лесу наверняка обнаружился хоть какой-нибудь знак, а то ничего — даже окурков нет.

— Полагаешь, они дурнее нас? — спрашивал Сарыкин.— Знают, что ищут их, потому и попрятались. Может, мы мимо них каждый день проходим.

— Ну-у...— не верил Петька.

По небу стремительно проносились облака, похожие на истерзанную вату. Солнце то скрывалось, то появлялось снова. Ветер пригибал деревья, по реке ходила рябь, маленькие волны бились о берег.

Петька перебрался на другую сторону реки, позвал Семина. Они прошли еще метров триста и остановились на берегу тихой заводи.

— Сейчас костер разведем,— сказал Петька и стал собирать хворост.

— Помочь? — спросил Андрей.

— Сам,— проворчал Петька.— Ты лучше припасы покуда из «сидора» вынь.

— Какие припасы?

— Соль, перец, лавровый лист.

— Даже пряности раздобыл?

— Чего?

— Даже пряности, говорю, раздобыл?

— Это, что ль? — Петька кивнул на перец и лавровый лист.

— Да.

— Этого добра на кухне навалом!

Петька разжег костер. Сухие ветки занялись дружно, почти не дымили. Поверх них он положил ветки покрупнее — сразу повалил дым, густой, выбивавший слезы. Семин отошел от костра, попросил у Петьки махорки, взяв тлеющую ветку, прикурил. Солнце выпуталось из облаков, светило вовсю. Андрей чувствовал кожей его ласковое тепло.

— Хо-ро-шо!

— Выпьем — еще лучше будет,— обнадежил Петька.

Фляжка охлаждалась в реке. Семин лег на спину, стал глядеть в небо. Позвякивал котелок. «Как хорошо,— подумал Андрей,— что война кончилась и мы — живые».

— Вставай,— проворчал Петька.— Рыбу глушить надо.

Семин встал. Петька разделся догола. Обхватив руками покрытые веснушками плечи, потрогал ногой воду.

— Холодная!

Андрей поболтал в воде рукой.

— Терпимо.

— Тогда валяй ты! — сказал Петька и быстро натянул на себя нательную рубаху.

Семин разделся, похлопал себя по груди. Петька принес гранаты.

— Ты в тот край бросай, а я в этот!

Над рекой поднялись фонтаны, волны с шумом ударили в противоположный склон, с вкрадчивым шелестом набежали на пологий берег, оставив на траве грязновато-серую пену. Брюхом вверх всплыли щурята, краснопёрки, плотва.

— Сигай! — заорал Петька.

Семин влетел в реку и остановился, обожженный холодом. Тело сразу посинело.

— Давай, давай! — подгонял Петька.— Очухается рыба, без ухи останемся.

Андрей плеснул на грудь, присел, окунулся, зажав нос и глаза, и, преодолевая сопротивление воды, помчался к рыбе — она плыла брюхом вверх по течению, лениво шевелила плавниками. Раненую ногу сводила судорога, но он не обращал на это внимания, хватал рыбешек и выбрасывал их на берег. Петька бегал по берегу в одной нательной рубахе, без кальсон, возбужденно вопил:

— Быстрей, быстрей, а то уйдет!

Посреди реки было по грудь. Вспенивая воду, Андрей поплыл к трем щучкам — они уже очухались, пытались уйти в глубину.

— Хватай! — Петька скинул рубаху. Но в воду не вошел.

Двух щучек Семин выловил, а третья ушла, вильнув напоследок хвостом.

— Нерасторопный ты,— сказал Петька, когда Семин выбрался на берег.— К костру беги. Губы у тебя синие, как чернила.

Стараясь унять дрожь, Андрей быстро оделся, протянул руки над костром.

Петька ловко очистил и выпотрошил рыбу, наполнил котелок водой.

— Ушица будет — объедение!

Семин ничего не ответил — никак не мог согреться.

— Пройдет,— сказал Петька.— Самогонки сейчас выпьешь, горяченького похлебаешь — жарко станет.

Ветер усилился. От костра летели искры, обожженная трава корчилась, как живая, пламя то валилось набок, то взмывало вверх, обхватывая длинными языками котелок, из которого выплескивалась уха. Петька крутил в нем ложкой, чертыхался, когда пламя обдавало жаром лицо. Семин почувствовал ломоту в костях, голова стала тяжелой, рана ныла, хоть плачь.

Петька снял котелок.

— Тащи фляжку и давай рубать — на ветру варево быстро стынет.

Семин с непривычки сразу опьянел.

— Закусывай,— посоветовал Петька.

— Не хочется.— Андрей вдруг почувствовал усталость: голова отяжелела, движения стали вялыми.

— Ешь, ешь!

Андрей подцепил ложкой кусок рыбы, пожевал. Рыба показалась безвкусной. Он с трудом проглотил кусок, поперхнулся костью. Петька хлопнул Семина по спине.

— Прошла?

— Вроде бы...— с трудом пробормотал Андрей.

8

Семин лежал в блиндаже под двумя шинелями, никак не мог согреться. Петька куда-то ушел. Уже наступил вечер, тонко и надоедливо звенели комары, отыскивая незащищенное тело. Андрей натянул шинель на голову, постарался заснуть, но не смог. Комар-диверсант проник под шинель, стал крутиться около лица.

Прогромыхали сапоги. Запахло «шрапнелью» — так солдаты называли перловую кашу.

— Спишь? — окликнул его Петька.

— Нет.

— Тогда вставай, рубать будем!

— Не хочу.

— Хорошая каша, с мясом!

— Не хочу.

Петька помолчал и сообщил:

— А ребята сегодня обратно в лес ходили. Дядя Игнат сказал: фрицев видели. Крикнули им, чтоб сдавались, а они — деру.

— Захватили?

— Промашка!

— Обидно.

— Само собой.— Петька помолчал. —Выходит, не кончилась для нас война-то.

Прибежал посыльный — ребят требовал командир роты. Петька накрыл котелок газетой, посмотрел на Андрея:

— Может, доложить Овсянину, что ты захворал?

— Не надо.— Семин с трудом поднялся. Тело казалось налитым свинцом, перед глазами все качалось.

— Дойдешь?

— Дойду.

Когда посыльный умчался, Петька помог Андрею надеть шинель, проверил, застегнулся ли он.

«Петька — хороший, заботливый парень, — отметил про себя Андрей.— После демобилизации мы друг другу писать будем и в гости ездить».

— Потопали?

Семин кивнул.

Давно наступила ночь, только на самом горизонте, там, где темнели, словно огромный забор, верхушки елок, еще розовело, угасая, небо. На светлом фоне лес, который прочесывала рота, показался сейчас угрюмым. Возле землянок переговаривались бойцы, звякали ложки, пахло «шрапнелью». Стелился туман, наползая на кусты, обволакивая стволы деревьев. В низинках он был густым, а на буграх — реденьким, словно расплывшийся дым. Пала роса, и было прохладно. Петька шел без шинели, а Андрея колотил озноб.

— Зазря пошел,— сказал Петька, беря его под локоть.

— На свежем воздухе лучше,— пробормотал Семин, хотя чувствовал себя хуже некуда.

Петька вздохнул.

— Я все гадаю, зачем Овсянин нас требует.

— Узнаем сейчас.

Овсянин стоял около своего блиндажа. Был он в наброшенной на плечи шинели, без фуражки. Неподалеку от него топтался Сарыкин с травинкой во рту. Звенели комары. Петька отмахивался от них, а Семин не чувствовал укусов.

Шагнув к ребятам навстречу, Овсянин проговорил:

— Поскольку вы отдыхали весь день — задание вам: отнести в штаб донесение.

— Я один схожу,— сказал Петька.

— Почему?

— Захворал он.— Петька кивнул на Андрея.

— Захворал? — недоверчиво переспросил Овсянин и звучно хлопнул себя по щеке.

— Так точно, товарищ лейтенант!

Овсянин хмыкнул, подошел к Семину.

— Пьяный он, а ты говоришь — захворал!

— Захворал,— упрямо повторил Петька.

— Разговорчики! — Овсянин повысил голос.— Нажрался на радостях — срам.

Андрей не стал оправдываться — не было сил.

— Санинструктора сюда! — потребовал Овсянин и предупредил Семина: — Если болезни не окажется, на себя пеняй.

Санинструктором в роте был прыщеватый малый, вечно недовольный чем-то, с сонливым выражением лица. Повязки он накладывал неумело, на все замечания говорил одно и то же: «Лекарство — дерьмо! Организм сам себя лечит».

Подбежав к командиру, санинструктор козырнул.

— Займись им,— распорядился Овсянин, показав на Андрея, и снова хлопнул себя по щеке.

Санинструктор потянул носом.

— Вроде бы самогонкой от него попахивает.

— Это я и без медицины узнал! — вспылил Овсянин.— Есть ли болезнь, определи.

Санинструктор положил на лоб Андрея ладонь — шершавую, как наждак.

— Горячий!

— Температуру смерь! — потребовал Овсянин.

Санинструктор достал градусник, велел сунуть его под мышку. Овсянин не спускал с Семина глаз. Петька шумно вздыхал. «Нервничает»,— решил Андрей и снова подумал, что Петька — хороший парень.

— Дозвольте закурить, товарищ старший лейтенант? — подал голос Сарыкин.

— Кури! — разрешил Овсянин и, прихлопнув очередного комара, добавил: — А тебя, смотрю, эта тварь не трогает.

— Нет! — весело откликнулся Сарыкин.— У меня кожа для них неподходящая — жесткая сильно.

Розовая полоска над лесом растаяла. Деревья приобрели причудливые очертания, и все знакомое — блиндажи, окопы — стало другим.

— Вынимай градусник! — приказал Овсянин.

Семин вынул его, протянул санинструктору. Тот, неловко держа градусник в руке, зажег спичку.

— Тридцать восемь и четыре десятых.

— Как гора с плеч,— проворчал командир.

Андрей определил по голосу — остыл. Подкашивались ноги, и кружилась голова.

Овсянин повернулся к Петьке.

— Придется тебе, Шалкин, одному идти.

— Дозвольте мне с ним! — вызвался Сарыкин.

— Ты же сегодня ходил.

— Зазря. Знакомого писаря к начальству вызвали, так и не дождался его.

— Пожалей ноги, старый,— сказал Овсянин.— Десять километров туда, десять обратно, это для тебя — маршрут.

— Ничего! — откликнулся ефрейтор.— Мы к ходьбе привычные.

— Полагаешь, уже есть приказ?

— Имею такую надежду.

Овсянин помолчал.

— Ладно! Только поосторожней — в лесу всякое может случиться... А ты,— он повернулся к Андрею,— в блиндаж ступай и ложись. Если к утру не полегчает, в медсанбат отправим...

Семин слышал, как в блиндаж вошли ребята. Кто-то окликнул его. Он не отозвался — по-прежнему было невмоготу. Озноб прекратился, и сразу вы-



Ю. Додолев. Фото 1975 года.

В 1941 году, иогда иачалась войиа, Юрию Додолеву еще не было пятиадцати лет. Ои жил в Москве и учился в школе. В 1942 году поступил учеииком иа 2-й Подшипиииовый завод, где проработал до ноября 1943 года, до призыва в ряды Красиой Армии. Был раиеи. Сиова вернулся иа фроит и заиоичил войиу в Прибалтике под Либавой, где и происходили события прочитаиной вами повести.

ступил пот — стало жарко, как в бане. Нательная рубаха намокла. Андрею почудилось, что лежит он в луже, наполненной горячей водой. Семин откинул шинель, повернулся на другой бок и незаметно для себя уснул...

Проснулся с ощущением тревоги. Решил, что ему приснился нехороший сон, но ничего не вспомнил. Похрапывали ребята, что-то бормотали, скреблись, раздирая до крови блошиные укусы. Голова уже не болела. Семин чувствовал себя сносно, только был слабым. Место около него пустовало — Петька еще не вернулся. «Который теперь час?» — подумал Андрей и пожалел, что не обзавелся трофейными часами. Дешевые трофейные часы («Штамповка»,— утверждал Петька) были почти у всех ребят. Один раз хотел взять часы у долговязого, костистого немца, тот заякал, с готовностью вынул их из кармашка — они были прикреплены металлической цепочкой к брюкам. Семину стало стыдно. Он махнул рукой, поспешно отошел. Почувствовал — пленный удивленно смотрит ему вслед. Петька с убитых часы не снимал — брезговал, а у пленных отбирал. У немцев, которых ребята захватили пять дней назад, были часы и не какие-нибудь, а мозеровские — Семин прочитал название фирмы на циферблатах. Петька тогда обрадовался. Сложил ладонь трубочкой, посмотрел на циферблат: «Светятся!» Оставить швейцарские часы им не разрешили — все, что ребята отобрали у немцев, было приказано сдать. Петька в тот вечер ворчал недовольный, а Семин не горевал: орден, к которому представил его командир, заслонил все...

Накинув шинель, Андрей вышел из блиндажа. Было тихо, и это обострило и усилило тревогу, с которой он проснулся. Семин подумал, что напрасно накручивает себя, что для тревоги нет оснований.

Трудно передать словами безмолвие ночи, когда нет ни ветерка, когда все скрыто густой, вязкой темнотой, когда ничего нельзя разглядеть: напрягаешь глаза и видишь только очертания предмета, а не сам предмет, и твое воображение начинает фантазировать. И как ни успокаивай себя, как ни утешай, фантазия побеждает, потому что ее союзники — ночь, тишина и тревога, возникшая неизвестно отчего. Что-то должно произойти, и ты ждешь этого.

Неожиданно там, куда уходила лесная дорога, затарахтели автоматы. Семин определил: «Немецкие!»

— В ружье! — раздался голос дежурного.

Из блиндажей выскакивали, застегиваясь на ходу, ребята. Все вокруг наполнилось шумом. Захватив винтовку, Андрей тоже бросился в лес — туда, откуда прозвучали выстрелы. Глаза привыкли к темноте. Он различал фигуры бойцов — они бежали чуть пригнувшись, зло ругались, налетая на кусты. Сердце щемило, и в душе было пусто. Мокрые ветки хлестали по лицу, на голову и плечи обрушивались капли. И вдруг Семин услышал крик. В этом крике было все — боль, страх, отчаяние. Ломая ветки, не разбирая под ногами земли, он бросился в ту сторону, откуда прозвучал крик, и чуть не налетел на бегущего впереди лейтенанта.

— Ты? — спросил он, обернувшись на ходу.

— Так точно!

— Ни черта не видно! — Овсянин включил карманный фонарик, стал светить под ноги. Иногда он поднимал руку, и тогда из мрака выступали сцепившиеся ветвями деревья, среди которых пролегала похожая на узкий коридор дорога. Там, где она круто сворачивала, стояли, тесно столпившись, бойцы.

— Что случилось, ребята? — спросил Овсянин.

Бойцы расступились, луч фонарика вильнул, и Андрей увидел Сарыкина и Петьку. Они лежали на дороге, прошитые автоматной очередью. Захотелось кричать, но из груди вырвался только хрип. С несвойственной грузному телу легкостью Овсянин упал на одно колено, приложился ухом к груди Сарыкина.

— Убитые они, товарищ лейтенант,— глухо произнес кто-то.

— Петька! — Семину показалось, что все это происходит во сне.

Овсянин поднялся, стал комкать носовой платок. «Это не сон,— понял Семин и почувствовал, как застучало в голове: — Сарыкин — вместо меня, вместо меня, вместо меня...» Он вспомнил, с каким нетерпением ждал демобилизации дядя Игнат, представил его дочерей и сына, перевел взгляд на Петьку и разрыдался.

— Успокойся, будь мужчиной,— сказал Овсянин и положил руку ему на плечо.

Не переставая плакать, Андрей подумал, что он обязательно вернется домой, к матери, а в Петькин дом и в дом Сарыкина придут похоронки, которых теперь никто не ждет, но которые все приходят и, возможно, еще будут приходить...

●

Эти два снимка были сделаны в один и тот же день. Их лучше всего рассматривать, положив рядом. Названия фотографий: «Победа» и «Энде». И то и другое означает конец величайшей битвы, в которой победителем оказался наш народ, отстоявший свою независимость, честь и свободу.

В то памятное майское утро, после выполнения последней операции, колонна танков стягивалась к покоренному рейхстагу. Танкистам не терпелось посмотреть на всеобщее ликование, царившее у «парадного подъезда» этого закопченного огнем пожара здания, расписаться на его стенах и колоннах. Я подошел к головному танку и поздравил командира с победой. Увидя на моей груди аппарат, он спросил: «Фотокорреспондент?» Я подтвердил. Улыбаясь, этот усталый человек с воспаленными глазами прижал руку к ларингофону на шее и отдал по радио команду. Замолкли могучие моторы, и враз настала тишина...

Радостные и возбужденные, вылезали из своих стальных, еще не остывших от боя машин парни в комбинезонах. Кто-то крикнул «Ура!», «Победа!». И в воздух взлетели шлемофоны и рукавицы. Это мгновение можно было снять только один раз.

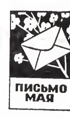
Я решил обойти вокруг рейхстага. И то, что я увидел, было поистине символично... На груде камней, среди обломков укреплений сидел с перевязанной рукой немецкий ефрейтор. Он не сразу увидел меня, но едва успел щелкнуть затвор моего аппарата, как он вскочил и стал по стойке «смирно». Дубля не получилось. Был только один кадр.

Махнув рукой, я подошел к нему, вытолкнул из пачки папиросу и подал ему. Дрожащей рукой он взял ее, затянулся дымком и скорее выдохнул, чем сказал: «Энде, гер официр».

М. РЕДЬКИН



РАЗВЕ МОЖНО ЭТО ЗАБЫТЬ!...



Не знаю, как начать это письмо, но в нем мне хочется поведать о людях, чье детство прошло в годы войны. Столько осталось в моей памяти событий!

Я родилась в 1929 году в семье текстильщиков. Родители работали на текстильной фабрике «Пролетарка» в Калинине. (Тогда наш город назывался Тверь.)

Детство у меня было радостное. Уже в восемь лет мне посчастливилось переступить порог клуба «Текстильщик». На нашей «Пролетарке» шли прекрасные спектакли, поставленные Георгием Александровичем Гангесом,— это были балеты «Красный мак», «Конек-горбунок», где я еще совсем маленькой девочкой танцевала в массовых сценах.

И вдруг война! Пришло страшное время, когда в ночь на 17 октября 1941 года в город ворвались немцы. Помню огромное зарево пожара, мама и мы с младшим братом с мешками сухарей за плечами бредем в толпе беженцев, а потом возвращаемся назад... Все пути отрезали немцы...

И вот мы, все родные, собрались в рабочей казарме, где жили дедушка и бабушка. Время коротали возле железной печурки, которую дедушка соорудил посреди комнаты. Питались картошкой: выкапывали ее из-под снега на поле. Однажды я упросила бабушку взять меня с собой за водой. Ее черпали прямо из проруби на реке Тьмаке. Там я увидела пленных красноармейцев. Они почти босыми ногами ступали по снегу, таская воду на конюшню фашистам. Я помню, как после этого дома не могла заснуть... Я и мои сверстники тайком от родителей пробирались к речке и, лежа на снегу в кустах, дожидались момента, когда отворачивался часовой — тогда мы незаметно бросали пленным печеную картошку.

Фашисты нередко делали налеты на казармы. Ходили по комнатам, открывали ящики комодов, шкафы и грабили. Моя бабушка Марья отчаянно с ними ругалась, стыдила, а мама старалась ее успокоить, боялась, что ее убьют.

Никогда не забуду 16 декабря 1941 года, когда наш город освободили советские воины. Было общее ликование, радость. Все вышли на улицы.

А через некоторое время вся фабрика шла в Большой Пролетарский театр прощаться с погибшими красноармейцами (кажется, это были разведчики). Разве можно это забыть! На постаменте стояло восемь гробов. Люди смотрели на истерзанные тела широко раскрытыми от ужаса глазами. Мне было тогда 12 лет, но я хорошо, отчетливо помню: именно тогда поняла, что такое фашизм!

В клубе был лютый холод, но казалось, что это кровь застывает в жилах от ужаса. В моей душе все возрастала ненависть к фашистам, хотелось отомстить им за все: за то, что мы голодаем, за то, что разрушен город, за то, что они убивают...

Вскоре сели за парты в школе, несмотря на то, что заниматься в классах приходилось в пальто и валенках: мы писали на газетах, а чернила застывали от мороза... В свободное время решили помогать в госпиталях ухаживать за ранеными, веселить их песнями и плясками.

И вот пять девчонок и двое мальчишек придумали сами программу небольшого концерта и с патефоном в руках пошли по госпиталям. Нам хотелось хоть чем-то помочь фронту. Каждый из нас и стихи читал, и пел, и плясал. Раненые долго не отпускали нас, всегда радовались нашему появлению.

Помню такой эпизод: я с патефоном в руке пришла в госпиталь, где за мной были закреплены палаты по уходу за ранеными. Госпиталь был в школе на проспекте Калинина. Меня там хорошо знали. Я разделась и поднялась на второй этаж в палату.

Раненые заулыбались, а я завела пластинку с песней Руслановой и пустилась по палате в пляс. Вдруг вбегает дежурный врач и кричит: «Почему здесь девочка?! Ведь был приказ никого не впускать. У нас карантин — тиф!» А потом увидел, что даже те бойцы, кому нестерпимо больно, улыбаются, умолк и позволил мне доплясать.

Все годы войны мы развлекали раненых бойцов в госпиталях, дежурили возле тяжелораненых, писали письма родным тех, кто не мог сам писать.

Потом наша самодеятельность стала более солидной. Появился баянист, приехал наш балетмейстер Г. А. Гангес, влились новые участники, но мне бесконечно дорого и памятно то время, когда возникла наша первая «концертная» бригада, когда нас было семеро, было трудно, но радостно от сознания, что мы тоже чем-то полезны.

Помню один из самых счастливых дней в моей жизни. Это было зимой. В холодном нетопленном зале собрались добровольцы, уходящие на фронт, а я впервые вышла петь на большую сцену клуба «Пролетарка». На мне было розовое батистовое платье, а ростом я была совсем маленькая. Пела я песню «О казачке», в зале стало очень тихо. Тоненько звучал только мой голос. А когда я кончила петь, в зале разразилась овация, меня вызывали несколько раз, еще и еще...

После войны я пришла работать старшей пионервожатой в школу № 1. Эта школа была для меня все еще «моим госпиталем», и, переступив порог одного из классов, я, закрыв глаза, вновь увидела ряды коек и на одной из них обгоревшего бойца.

Звали его Ваней, он был весь забинтован. Оставались только отверстия для рта и носа. Я кормила его с ложечки, читала ему, а однажды пела «Синий платочек», склонившись близко к уху, так, чтобы он услышал сквозь толщу бинтов. Мне казалось, что когда я приходила дежурить, Ваня улыбается сквозь бинты.

Я пишу вам об этом в преддверии тридцатилетия Победы над фашистской Германией.

Как-то раньше, когда была моложе, я никому об этих годах не рассказывала. А сейчас, когда мне сорок пять лет, невольно вспоминается то, как нам хотелось помочь фронту... Конечно, помощь была скромная, но старались мы изо всех сил...

Поздравляю вас, дорогие, всех, кто прочитает это письмо, с праздником Победы! Желаю вам здоровья, счастья и вдохновения.

Диана ЯБЛОКОВА

г. Новокуйбышевск.



Мария
КРАСАВИЦКАЯ

ДОЧКИ-МАТЕРИ

РАССКАЗ



Рисунок А. ЗАЙЦЕВА.

Звонок телефона сорвал Лиду с места. Как большая испуганная птица, метнулась по квартире.

Глядя дочке вслед, Варвара Васильевна усмехнулась: совсем недавно телефон мог добела раскалиться от звонков — она бы не шелохнулась. Теперь — полетела. И не успела. Отец пришел с работы, раздевался в прихожей. Снял трубку. Переспросил с надменным удивлением:

— Лыдыю?

Так, полным именем, твердо выделив в нем «л» и «д», он называл Лиду редко — лишь тогда, когда сердился на нее. Он не умел на нее сердиться: поздний ребенок, жданный, желанный. Уж и надежд на ее появление не было...

— Кто спрашивает Лыдыю? Ах, зна-акомый! Быть может, зна-акомый утрудится, назовет себя?

Из кухни Варвара Васильевна видела мужа: оттопырена нижняя губа, брови, с годами ставшие косматыми, сошлись в одну толстую линию. Грузные плечи нависли над телефоном — медведь, да и только!

И Лиду Варвара Васильевна видела тоже. Та бежала на зов звонка — потеряла домашнюю туфельку. Где ей было подобрать! Стояла, как хромая, упиралась в пол напряженными пальцами босой ноги. Не сводила с отца глаз, и была в них мольба: «Ну, хватит, папа! Ну, папа же!»

Отец поглядывал на нее — не мог не заметить. Но продолжал:

— Ах, Инду-улис! О-очень приятно. И по какому... хм... срочному делу вам требуется моя дочь? Ах, по ли-ичному! О-очень интересно! — Тянул в нос гласные, пальцами свободной руки расправлял закрутившийся провод: придумывал, что бы еще спросить. Он не отличался мгновенной находчивостью.

— Не-ет, Лыдыя дома. Почему же, до-ома, до-ома...

Как назло, этот мальчик, этот Индулис, в который раз звонит именно в тот момент, когда отец разоблачается в прихожей. Варваре Васильевне тоже знаком его голос — робость, которую не в состоянии скрыть «басовые ноты»:

— Пожалуйста, попросите Лиду!

Она старалась отвечать как можно мягче:

— К сожалению, Лида вышла. Она...

Мальчик не слушал объяснений:

— Извините, пожалуйста! — И частые гудки.

Через десять минут новый звонок. И еще, еще — до тех пор, пока вернувшаяся Лида не подлетала к телефону сама:

— Да. Я. Здравствуй. Да, да, да! — Сколько радости может вместить коротенькое «да»!

«Лидка-копуша» — прозвище давно и прочно укоренилось за нею. По зову мальчика «копуша» собиралась мгновенно. Но, как ни торопилась, не забывала, уже вполне готовая, застыть на мгновение перед зеркалом.— И — стук каблуков по лестнице. Где ей возиться с лифтом!

Отец наконец-то смилостивился, отдал трубку.

— Да. Здравствуй.— Все остальные «да» — приглушенно: отец стоял рядом, причесывал поредевшую шевелюру с излишней тщательностью. Лихорадочные Лидины сборы прервал вопросом:

— Ты куда?

— Я скоро...

— Я спросил: куда идешь, а не когда вернешься.

— Я скоро...— Потеснила отца от зеркала. И — топ-топ-топ по лестнице.
— Ужин готов. Мой руки.
Он взорвался:
— «Мой руки, мой руки!» Не понимаю, как ты можешь... умыть руки! — кивнул на телефон.
— Но... что поделаешь? — Напомнила шутливо: — «Пришла пора, она влюбилась...»
Будь на свете прибор-юморомер, то стрелка его не сдвинулась бы с нуля. Нет, она чего доброго покатилась бы от нуля в обратную сторону!
— Пришла пора! — передразнил муж.— Ей шестнадцать лет. Шест-над-цать!
— Самое время влюбляться.
— Самое время учиться.
— Одно другому не мешает.
Ах, вот этого говорить не следовало!
— Не мешает?! — Движения у мужа — работа сидячая — медлительные. На сей раз в комнату дочери он устремился неуклюжей рысцой. Тем же аллюром и вернулся. Швырнул на кухонный стол дневник: — Полюбуйся: тройки, тройки, тройки. Ага, запись: «Невнимательна, рассеянна на уроках». Не-ет, надо выколотить из нее эту... дурь!
Варвара Васильевна насилу сдержала улыбку: многое напомнило ей это слово «дурь». Но улыбаться не стала — вызовешь новую вспышку гнева.
— Мой руки. Все стынет.
Голодный мужчина — самое бессмысленное существо. Бесполезно ждать от него рассудительности.
— Потатчица! — буркнул он, направившись, однако, в ванную.
Мы вот что сделаем: мы накроем ужин не в кухне, как обычно, а в столовой. Красивая посуда — его слабость. Поставим, так и быть, тарелку от парадного сервиза. Не чашку, но тонкий стакан в ажурном серебряном подстаканнике. Как хорошо, что осенило сделать его любимые голубцы! И сливки Лида купила очень впору. И — мимоходом — включим-ка мы телевизор. Кажется, сегодня хоккей? Если так — все прекрасно в этом лучшем из миров.
— Селедочку подать?
— Подай.— Конечно, не без ворчливых ноток, но мягче, мягче.
— Го-ол! — завопил нагревшийся телевизор.— Якушев открыл счет!
Лучше не придумаешь: Якушев — любимец.
Телевизор не только обрел голос, но и прозрел. Увлекательный момент: Якушев один на один с вратарем — эпизод идет повторно. Муж вслепую ткнул вилкой в селедочницу — глаза устремлены на экран. Конечно, накапал на чистую скатерть. Что делать, не заметим. И придем в восторг от гола.
— Ах, лихо!
— Ну, Якушев же! Что ты хочешь?!
Она хотела, чтоб Якушев забил еще десять голов подряд. Но «Спартак» — команда ненадежная. Забьют в ее ворота — муж в расстроенных чувствах, конечно же, мигом вспомнит про Лиду. Так что лучше улизнуть.
— Тебе ничего не надо больше? — Праздный вопрос: будь на столе один только хлеб — в данной ситуации он и им удовольствуется.— Тогда я на кухню. Нужно будет, позови.
Прекрасно, если жена приходит с работы на час раньше мужа. Для семейной работающей женщины час — колоссальное время. Пять дел наладить сразу — к приходу мужа все готово. Дальше, пока длится хоккейный матч, можно уже без спешки соорудить обед на завтра. Простирнуть те мелочи, что не сдаются в прачечную. Исполнить в порядке подхалимажа мужнюю обязанность: вынести мусорное ведро. И — главное! — подумать.

Вода прохладной экономной струйкой побежала в раковину, на картошку. Нож-обломок с тонким, острым лезвием погнал с картошины длинную ленту кожуры.
...Ах, если бы т о г д а у них были такие ножи! Гм, тогда... Звонки этого мальчика все чаще заставляли Варвару Васильевну произносить мысленно: «тогда». Она в свои «под пятьдесят» будто поравнялась в чем-то очень важном с дочерью. Конечно, в ее шестнадцать не было телефонных звонков, ибо и самого телефона в их домишке не было. Был свист под окном. Жданный, боже мой, какой жданный! И вопрос отца: «Ты куда?» И ее ответ: «Я скоро...» Все повторяется, а?
Война оборвала свистки. Ну, не в действующую армию — на трудовой фронт ушел свистун. А они, трое — Ада, Галя и Варя,— подобно тысячам сверстниц, помчались в военкомат: «Мы должны, мы обязаны...» Им было по шестнадцать, трем подружкам. Их отправили домой без разговоров.
Ада... Будь Ада девчонкой сегодняшней, она неминуемо обрядилась бы в джинсовый костюм. Руки в карманах. Стрижка — короче невозможно, носкнопка как символ полнейшей независимости — это было и тогда. И невероятная изобретательность на всякие «штучки». Если Ада сложила нижнюю губу трубочкой, дунула-свистнула вверх, на челку, воскликнула «Эврика!» — значит, ее посетила очередная идея.
Свистнула она и в битком набитом коридоре военкомата. И Галя, что была как бы тенью Ады, но тенью застенчивой и женственной, охнула:
— Придумала, да?
Они выбрались из коридорной толчеи. Сгорая от нетерпения, Галя приподнялась на цыпочки, задала вопрос-вздох:
— Что, Ада, что?
— А то,— Ада опять раздула челку на лбу,— что наш год рождения, 1925-й, ничего не стоит исправить на...— Указательный палец в раздумье что-то изобразил в воздухе. И вдохновенно: — Да, да, на 22-й исправим. Тогда: мы взрослые! Все. Пошли.
Ада долго тренировалась, сводя с паспортов на кальку ставшую непреодолимой преградой цифру «5». Варя с Галей заглядывали ей через плечо, отчаивались:
— Нет, не получается!
— Отстаньте! — сердилась Ада.— Разные почерки. В каждый нужно сначала «войти».
Изучай кто-нибудь их паспорта под микроскопом — не заметил бы искусной поправки. Ну, разве что чуточку больше блестела заново наложенная тушь.
— Все! — изрекла Ада.
На следующий день они явились в военкомат девятнадцатилетними. И — о чудо! — с ними сразу стали разговаривать по-другому. Их направили в госпиталь — так стала именоваться городская больница.
Слов нет, госпиталь не то, к чему они рвались: в разведчики, в снайперы. Н-да, все на свете, оказывается, имеет обратную сторону. Шестнадцатилетними они имели право выбора: учитесь, девочки, устраивайтесь на работу, куда хотите, везде рабочих рук не хватает. Став мгновенно девятнадцатилетними, совершеннолетними, они никакого права выбора больше не имели: они были м о б и л и з о в а н ы. Какое прекрасное, какое сильное слово!
Ну, что ж, можно в конце концов примириться и с госпиталем. «Пи-ить, сестрица, пи-ить!» — «Сейчас, миленький, сейчас!» Ладонь под забинтованную голову, приподнять ее бережно, нежно. Беленький носик поильника — к пересохшим, к искусанным губам...

Доктор Янишевский, начальник госпиталя и его главный хирург... Ах, доктор, доктор! Вся женская часть госпиталя была без памяти в него влюблена.

Варвара Васильевна, спуская с картошины закручивающуюся кожуру, посмеялась. Во что было там влюбляться? Маленький, тщедушный. Редкие, песчаного цвета волосы вечно казались потными, липли ко лбу. Но глаза... Глаза доктора смотрели собеседнику в самые тайники души. Все на свете они понимали, эти прозрачные, почти бесцветные глаза.

Больничный мудрец и философ, старый возчик Устин Данилович рассуждал о докторе:

— Ежели, к примеру, был на свете Иисус Христос — в точности был бы он похож на доктора Янишевского. И никак иначе!

Доктор Янишевский удивительными своими глазами по очереди заглянул в души трех девчонок, откомандированных в его распоряжение. В их девятнадцать лет не поверил. Ничуть. Сказал тихоньким тенорком:

— Пойдете на кухню.

Вот тебе: «Сестрица, пи-ить!» Но с доктором не поспоришь.

— За что боролись, на то и напоролись! — сквозь зубы прошипела, просвистела Ада, когда в состоянии, близком к отчаянию, вышли они из клиники, так заманчиво именующейся «госпитальной хирургией».

— Ничего! — Варя не теряла оптимизма.— Осмотримся — переберемся,— кивнула на окна клиники.

Нет, не было у них тогда таких прекрасных обломков ножей. А картошки было величайшее множество. В первый же день громоздкие ножи-тупицы натерли на указательных пальцах пузыри.

Доктор, пришедший снимать пробу ужина, взял Варю за руку, и она навсегда запомнила силу его коротких, узловатых пальцев.

— Как и следовало ожидать...— Он вынул из кармана рулончик лейкопластыря.— Будете обматывать. Пока... не привыкнете.

Начисто отрезал, стало быть, мечты о белоснежных палатах, о слабой мольбе: «Сестрица, пи-ить!»

Итак, картошка, картошка, картошка. Первыми они должны прийти на кухню, последними уйти. Им выдали ночные пропуска. Это ненадолго их утешило: не каждому такие даются! В конце концов картошку тоже кто-то должен чистить.

Но каково это, если сводки звучат по радио одна страшнее другой: «После упорных боев наши войска оставили город...» Никогда ты не видела тот, оставленный город. Даже и название-то его услышала впервые. А отрываешь его от сердца с кровью, с болью.

Как скоро, впрочем, проходила боль! Даже теперь, задним числом, стыдно: быстро все забывалось в молодости. И опять доносился беззаботный смех из их закутка, именуемого «подсобкой».

Вера Александровна, шеф-повар, наслушавшись тех глупостей, над которыми они помирали со смеху, говорила без упрека, скорее с завистью:

— Ну и дурь у вас в головах, девочки!

Пыталась улыбнуться. Губы, бледные, некрасиво вывернутые, кое-как подчинялись. А глаза, темные, широко поставленные, нет. Мужа, сына проводила на фронт в первые же дни. И — ни строчки от них. Не могли улыбаться глаза Веры Александровны. От этого улыбка была вымученной, страшной. Она пугала девчонок.

...Дождь мелкими беззвучными слезами тек по стеклам. Варвара Васильевна озабоченно выглянула в прихожую. Ну, конечно, складной Лидин зонтик висел на крючке.

Так, словно это была она сама, а не Лида, шагнула из теплого подъезда под мелкий, похожий на пыль дождик. И побежала, сжимаясь от сырости и холода.

...Вставать раньше мамы, даже раньше бабушки, бежать по беспросветно темным, пустым и гулким коридорам улиц — обратная сторона ночного пропуска.

Впрочем, по тем временам дождливое утро они считали благом: не прихватит в пути воздушная тревога. Варя боялась тревог. От унылого, надсадного воя сирен у нее сильными толчками начинало биться сердце. Хотелось нырнуть в спасительный мрак первого попавшегося подъезда. Нельзя нырнуть: завтрак раненым независимо ни от чего должен быть готов вовремя.

Шарили по небу ослепительные лучи прожекторов. Иногда хватали в перекрестье игрушечный, безобидный серебряный самолетик. Тогда яростно начинали бить зенитки. Варе казалось: оттуда, с высоты, ее видно на пустой улице, как на ладони. Любая бомба, с отвратительным воем оторвавшаяся от самолета,— в меня, в меня!..

От синего света прожекторов, временами ослеплявшего ее на улице, от игрушечного самолетика, от воющей бомбы не укроешься под зонтиком. Что чувствовала мама, представляя дочку-девчонку совсем одну, бегущую сквозь тьму, вой сирен и бомб?..

Даже в самое темное утро островерхая крыша клиники госпитальной хирургии видна была издали. Черная на черном, она проявлялась, как снимок в ванночке, с каждым шагом становилась отчетливей. И облегченный вздох, когда она совсем рядом: «Все, все!» Сразу за клиникой нескладный куб кухни. Ненадежная в общем-то защита, но...

В то утро с таким же мелким дождем, какой вот сию минуту капельками оседает на Лидиной пушистой шапочке, на волосах ее, бровях и ресницах, возле госпитальной хирургии Варя увидела подводы. Целый обоз.

Привезли новых раненых, вот что это такое. Но... на подводах! От этого у нее стало сухо и горько во рту. Значит... значит, где же нынче линия фронта, если на подводах?

Устало отфыркивались во мраке лошади. Сухо щелкали по асфальту подковы. В незнакомых, в непривычных этих звуках — беда, беда!

— На подводах! Раненых привезли на подводах!

От истошного Вариного крика что-то такое... такое мелькнуло в глазах Веры Александровны. Галя уже чистила картошку — выронила нож. Он звякнул о бетонный пол. Поварихи застыли возле плит. Со злорадным шипением побежал суп через край гигантской кастрюли. Чадно запахло горелым мясом. В другое бы время Вера Александровна... Тогда она ничего не заметила — стыл ужас в ее широко поставленных глазах: «На подводах!»

Быть может, завтра или послезавтра диктор на всю страну объявит по радио: «Наши войска оставили...» И назовет их город.

Единственный, кто не растерялся от Вариного сообщения,— Устин Данилович.

— Бабоньки, бабоньки,— попрекнул он.— Суп сбежал, котлеты горят. Милые мои бабоньки, раненых все равно кормить надо. Тем паче на подводах, под дождем ехали, остыли. Тем паче!

Он разогнал всех по местам. Сам остался в «подсобке». Понимал, очевидно, что присутствие его, какого-никакого, но все же мужчины, больше всего нужно растерянным девчонкам.

Поползла наконец-таки с картошки кожура, и он заговорил неторопливо:

— Да-а, дуги гнуть — хи-итрое дело. Мальцом был — гнул. Знаю. Перетянешь — сломается. Недотянешь — вырвется, тебе же, неумейке, в лоб закатит. Важно, девоньки вы мои, вот что: вяз подходящий выбрать.

Как же, очень нужны им были его рассуждения о том, как гнуть дуги! Он гнул и гнул. Слова его будто обволакивали. В них постепенно появлялся какой-то потайной смысл.

— Не тот вяз, чтоб сломался! — сказал Устин Данилович наконец даже, кажется, с торжеством.— Нет, не тот! А что гнется... Гнется, но нет, шалишь, не ломается! Так-то вот, девоньки! Эко диво: на подводах.— Он сделал вид, что смеется: — Я тоже завтрак повезу на подводе. Ну и что? Словом, пока суд да дело, помой-ка, Варя, очистки — кобылу подкормлю. По всему видно, ей трудов ноне предстоит... А там, смотришь, доктор придет пробу снимать. Все обскажет...

Кухня важно именовалась «цехом питания». В то утро цех ждал доктора Янишевского особенно нетерпеливо. Новая партия раненых — новые названия мест. Теперь уже, очевидно, совсем близких. Все равно: лучше знать, чем не знать!

Доктор порог не успел переступить, как к нему сбежались:

— Откуда раненые? Почему на подводах?

На первый вопрос он не ответил. Потер руки, словно успели они у него озябнуть за короткое путешествие от клиники до кухни. Сказал, глядя поверх голов:

— Дожди. Дороги развезло. Машины буксуют.

— А-а, что я говорил?! — воскликнул Устин Данилович.— Кобыла не забуксует, не-ет!

— Но...— начала было Вера Александровна.

Доктор повел в ее сторону взглядом, и она не договорила.

Он в задумчивости еще раз потер руки, покачал головой:

— Большая партия раненых. Тяжелые. А... крови у нас мало. Будем терять... Глупо будем терять!

— Еще чего скажете! — прямо-таки грубо заорала Ада.— А мы на что? — И дернула рукав халата, обнажила сгиб у локтя.

— Да, да, а мы на что?! — воскликнули Варя и Галя.

— Спасибо! — сказал доктор, и голос его дрогнул.— Спасибо. Я знал... Спасибо!

Всех троих, их вызвали на сдачу крови сразу. Те сто шагов, что отделяли кухню от госпитальной хирургии, они проследовали величественно: идут доноры! Обладатели универсальной крови — первая группа «по Янскому». С вполне приличным по военному времени процентом гемоглобина. Каждая даст дозу — четыреста пятьдесят кубиков крови-спасительницы. Пока проходили обследование, обогатились знаниями на сей счет. Дурехи, чего только не навоображали!

...Белая, залитая светом операционная.

Стол, на котором лежит раненый. Конечно, юноша. Прекрасный юноша. Бледен, как полотно: истек кровью. Глаза закрыты. Тень от ресниц лежит на щеках.

Рядом — второй стол. Для донора, для одной из них. Доктор Янишевский глуховатым из-под марлевой повязки голосом спросит заботливо:

— Не боишься? — Подбодрит: — Не бойся. Я тут — ничего не бойся.

Игла — ни чуточки это не больно! — войдет в вену на сгибе перетянутой жгутом руки. Доктор скажет: «Сожми кулачок, разожми. Поработай кулачком».

Резиновыми тонкими трубками кровь-спасительница побежит из здоровой вены в больную. И бледный румянец проступит на щеках раненого. И синий, оживший взгляд полон будет благодарности за возвращение из небытия...

Романтично? Еще бы!

Их ждали разочарования. Первое: вместо белоснежных, шуршащих крахмалом халатов выдали застиранные дожелта, мятые-перемятые матерчатые длинные чулки. Такие же рубашки — мужские, огромные, до колен. Накидки с прорезью для лица. Марлевые маски. Ох, какими они стали уродами!

Второе разочарование: приблизилась и осталась позади дверь с холодящей сердце табличкой: «Операционная».

— Сидите тут,— сказала угрюмая, замученная нянька, которая завела их в коридор-тупик, темноватый, пропахший лекарствами.— Ждите, вызовут.

Варю позвали первой. От страха у нее не гнулись ноги, еле перелезла через низенький порог. Как ни волновалась, но оглянулась. И это операционная? Закуток без окон, похожий на их «подсобку»,— операционная?! Да, был в ней стол. При ближайшем рассмотрении он оказался каталкой, укрытой простыней. Рядом маленький столик с инструментами, банками-склянками.

Две женщины в таком же, как у Вари, мятом-перемятом облачении обошлись без вопросов и подбадриваний. Одна из них приказала:

— Ложись! — и махнула рукой в сторону каталки.

Нет ни доктора Янишевского, ни бледного, как полотно, прекрасного юноши. Никакой, словом, романтики: кровь твоя пойдет на консервацию, в запас, в прямоугольную, наглухо закрытую стеклянную банку с наклейкой: «Группа крови... Фамилия, имя, отчество, адрес...»

— Работай, работай кулаком!

Ни боли, ни слабости — никаких ощущений. Лежи, работай кулаком.

— Все! — Холодная, остро пахнущая ватка легла на то место, где входила в вену игла. В точности так же брали кровь для анализа.

— Слезай. Голова не кружится?

— Нет.

— Тогда иди. Посиди немножко в коридоре. Старайся пить побольше.

— Ну, что, Варя, что? — Ада смотрела на нее со страхом и любопытством.

— Н-ничего.

— Но что, что ты чувствовала?

— Н-ничего.

Обидно: ни-че-го! Они-то воображали: дать кровь — подвиг. От прямоугольной банки с темной, некрасивой кровью до подвига, как от Земли до Луны.

А между прочим, Устин Данилович был прав: гнулась дуга, но не ломалась. Добрый вяз на нее пошел. И не подъезжают больше к госпитальной хирургии подводы. По скрипучему снегу — адские стоят морозы! — раненых подвозят в машинах-фургонах с красными крестами.

Раз в месяц сдать кровь — будни. Сбегала — не в госпитальную даже хирургию, а на донорский пункт. Вернулась в «подсобку» — чисть картошку. Поглядывай, чтоб не просочилась кровь из проколотой вены. Как же, просочится она: вены молодые, крепкие. Донору выдается особая карточка на продукты с красной буквой «Д» на каждом талоне. По ней получше продукты, в первый день месяца отоваривайся хоть себе и полностью. Ну, деньги еще, которые ничего не стоят. Вот тебе, донор, и вся романтика! Кому пошла твоя кровь, помогла—ничего ты не знаешь.

То письмо-треугольник она вынула из ящика сама. Подивилась обратному адресу: полевая почта. Незнакомый почерк. От кого бы? Никто из ее сверстников еще не воевал.

«Здравзтвуте, Барбара Василевна! Вам пишет летинант...— длинная заковыристая фамилия, которую Варя не без труда прочла по складам,— которому вы, Барбара Василевна, спасали жизн. Спосибо вам. Это ваш кров спасала мне жизн. Я нахожус в госпитоле, поправлаюс. Спасиба вам! Мой родные все «под фрицом». А хочетса написат кому писмо и получит от кого хоть пару слов. Напишитье пожалуста!»

Это ли не долгожданная романтика: письмо от человека, которого твоя кровь вернула к жизни! Все так и было, как ты воображала. Из высоко поднятой банки — теперь-то ты знаешь, как это делается! И пополз румянец по бледной щеке. И ожили глаза. И «напишите»!

Что написать? О чем? Отчетливо, будто были рядом, увиделись бугристые мешки картошки. «Дорогой товарищ лейтенант! Пишет вам кухонная рабочая...» Нет, немыслимо, невозможно!

К Аде — вот куда Варя тотчас полетела с письмом. Галя-тень, конечно, тоже оказалась там. При свете коптилки — два носа, уткнувшиеся в развернутый треугольник. Ага, позавидуйте, ага!

Ада обошлась без зависти. Она покатилась со смеху:

— «Здрав-зтву-те»! Ну, попробуй напиши вот так?!

Что ей было до смысла письма. Она видела лишь нагромождение ошибок. Варя-то сгоряча их и не заметила.

— Барбара! — измывалась Ада. И — гнусаво, будто у нее дикий насморк: — Баря! Баренька! «Спосибо вам! Ваш кров спасала мне жизн». Роскошно, бесподобно! «Напишитье пожалуста!»

Да, да, ошибки. Гора, груда, ворох ошибок. Но... Впервые за годы дружбы Варя обиделась на Аду:

— Ну, и что? Как мог, так и написал.

— О-о! — взвилась Ада.— Тогда пиши ответ. Сию же минуту: «Я тоже тружусь для нашей грядущей победы: чищу картошку!» И так далее. Главное, побольше восклицательных знаков. И — не забудь! — пару фраз насчет того, что вы теперь с ним родня по крови. Увидишь, что он тебе ответит!

Все те красивые и теплые слова, что слагались в уме Вари, пока бежала к Аде — в точности те же самые,— были просмеяны. И убиты. Наповал.

— С-слушай! — Ада дунула-свистнула, и челка ее взвилась.— А р-разыграть его! Непременно разыграть.

— Ты с ума сошла... Раненый...

— Но он же пишет, что поправляется. Суди сама: скучает, жаждет романтики. А ты ему... Нет, знаешь что? Ты прикинься старушкой. Ты ему такое... материнское письмо, а? Посмотрим, что он т о г д а ответит! Вообразил, поди, пр-рекрасную девушку. И вдруг... Как, Галя, а?

Конечно, Галя уже держалась за живот от смеха.

— Маму твою «за основу», а, Варька? Шью, мол, маскхалаты. Они... как это... А, вот: "Укроют от подлого врага наших разведчиков». Нет, наших доблестных разведчиков. Р-романтично, а?

Ада вырвала из тетрадки листок. Подмигнула. Жестом доктора Янишевского потерла руки. Карандаш полетел по бумаге.

Галя глянула через Адино плечо и скорчилась от смеха:

— Сынок! — почти прорыдала она.— Варька, у тебя сынок!

В общем, конечно, смешно. Хотя и...

В пять минут Ада накатала «тр-рогательное, истинно материнское письмо».

— Садись, Барбара, переписывай!

Если Ада что-то затеяла, от нее не отбояришься. Варя переписывала, думала: «Не отправлю. Дома сяду, подумаю — сама что-нибудь напишу. Это ни в коем случае не отправлю».

Как же, не отправишь! Адка предусмотрела такой вариант. Отправилась провожать. Письмо у нее. Она сунула его в щель почтового ящика. Наверно, ящик был пустой — треугольник глухо щелкнул ребром об его жестяное дно.

Ах, ну что ты будешь делать!

Ответ пришел быстро. «Мама!» — так он начинался. Сквозь немыслимые, сквозь чудовищные ошибки и косноязычие — искренняя радость, что вот и ему кто-то написал. Опять бесконечные «спосибо», «спасиба».

В конце он просил фотографию. «Буду молиться ему как бог».

Стыд, жаркий, невыносимый — вот что чувствовала Варя, читая письмо. Первое побуждение: тотчас написать правду, всю правду, вплоть до картошки.

— Ну, и дура! — Ада уничтожила побуждение в зародыше.— Такая может завязаться переписка! Т е- б е, дуреха, он так никогда не напишет. Тебе он начнет изливаться в «чюйствах». Эт-таким языком, а, Галя? Все испортишь, дурища!

Что там: доводы показались убедительными. И полетело в госпиталь еще одно «материнское» письмо.

С маленькой маминой фотографией.

И ответ: «Какой мылый, какой добрый ваш лицо. Честный слов: вы похож на мой далекий мама!»

Это письмо, кажется, смутило и Аду. Впрочем ненадолго.

— Входи в роль, Барбара Василевна! — посоветовала она бесшабашно.— Никуда не денешься. Сожгла за собой мосты!

Да, одно оставалось: войти в роль. Не так уж и трудно, оказывается. Во всяком случае, не смешно. Может, потому, что в каждой женщине, даже в самой юной, природой заложено материнское начало...

Вера Александровна, которой очередное письмо лейтенанта с трудно произносимой фамилией попалось в руки, с пристрастием допросила девчонок. Вздохнула:

— Дурь, какая дурь у вас в головах, девочки!

Сирень неистово цвела в ту весну наперекор войне, потерям, голоду. Каждый клочок земли горожане вскапывали под картошку. На кусты сирени, лезущие в окна их старенького домишки, у мамы с бабушкой рука не поднялась.

Варя приносила с кухни «глазки» — ростки картошки с крохотными кусочками вялой плоти. К при-

ходу Вари бабушка на месте былых клумб и палисадника готовила мягкую грядку. Они сажали «глазки» вдвоем в тот вечер: маме срочно надо было закончить партию маскхалатов. Теперь зеленых, похожих на моховое болото.

За зиму настыли углы в их коммунальной квартире. С наступлением тепла входная дверь целыми днями была распахнута.

Варя с бабушкой закончили посадку «глазков». Руки вымыть не успели — сию минуту черная, хрипло каркающая тарелка репродуктора должна обрадовать их сводкой об успехах весеннего наступления наших войск. В ожидании сводки и мама остановила бег швейной машинки.

Они все трое насторожились, услышав в прихожей мужские шаги. Еще бы они их не отличили, давно забытые мужские шаги! Мужской голос негромко сказал что-то — на кухне, кажется. Соседка ответила. Опять шаги. Стук в дверь.

— Войдите! — отчаянно зазвеневшим голосом закричала мама: гость-мужчина мог принести весть добрую — о папе, о брате. Но мог и недобрую: от них давно нет писем...

Гость вошел, поздоровался:

— Добрый вечер!

Нет, нет, с таким лицом — открытым, смущенно улыбающимся — он не мог быть вестником недоброго! Конечно же, он от папы или от брата: военный. Шинель-скатка через плечо, медаль «За отвагу» на гимнастерке. Традиционный, полупустой вещмешок.

Высокий, широкоплечий, гость словно потеснил мебель в их комнатушке. Скользнул взглядом по Варе, по бабушке. Увидел маму, и глаза его, просвеченные бьющим через ветки сирени солнцем, засияли.

— Вы...— не отрывая взгляда от мамы, начал он.— Вы... Вы есть Варвара Василевна? — Он шагнул к маме и протянул руки — обе сразу.

— Нет! — Мама пожала плечами.— Варвара... Васильевна — вот.— Повела рукой в сторону Вари.

Гость глянул на Варю. Удивился. Сошлись в одну линию широкие, темные брови. Руки, что рванулись было к маме, разошлись в стороны — в недоумении.

— Но...— начал он и умолк. И — мгновенный насмешливый блеск глаз. Потом как приказ: — Выйдемте, Варвара... хм... Василевна!

Через прихожую, мимо кухни — соседка пялилась, разинув рот,— он вывел Варю на крыльцо. Гроздь сирени мазнула его по лицу, и он погладил ее и понюхал. Отпустил, полюбовался, Варя топталась сзади.

Он стремительно обернулся.

— Вы, Ва̀рвара... хм...

— Не Ва̀рвара, а Варва̀ра,— поправила она сердясь, ибо в искаженном своем имени усмотрела насмешку.

— А, да... Пусть — Вар-ва-ра. Я...— На одном дыхании, легко и привычно он выговорил длинную, трудно произносимую фамилию. Ту, что Варя никогда не умела наизусть написать на сложенном в треугольник листке письма.

Пойди вспомни, что чувствовала Варвара... хм... Васильевна в ту минуту! Остолбенела? Пожалуй. И онемела.

— Не стыдно, Вар-ва-ра... хм... Василевна...— Начал он. Укор в голосе, смех в глазах.— Не стыдно морочить галву... простите... го-ло-ву фронтовику? Это вы... вы давал кров?

— Я...

— Как это будет по-русску? — У него был сильный, певучий акцент, он тянул все гласные: — А... приятный разо-чаро-вания. Так? — И он протянул Варе обе руки — так же, как вот только что протягивал маме.

Она не могла протянуть свои, все перепачканные присохшей землей. Она сжала пальцы в кулаки, пыталась спрятать их и не знала, куда. Он шагнул, почти насильно оторвал от груди Варины руки. Сжал их в горячих ладонях. И поцеловал с почтительной нежностью — одну руку, другую.

— Спасибо, спасибо. Ваш кров есть мой жизн. Бла-го-дарю!

Не отпуская Вариных рук, он подвел ее к низенькой, вросшей в землю скамейке, усадил. И сам сел. Разглядывал ее в упор, в усмешке подрагивали уголки губ.

— Мамочка, а? — Откинув голову, он рассмеялся.— Я-то думай... или как? Думал? Да? Почему такой... такой волнений в крови? Юный кров получал, вот почему.— И он засмеялся.

— Простите меня, Гуна́р! — выговорила наконец Варя в паузе между приступами его неудержимого смеха.

— Не «Гуна́р», бет... но «Гу́нар» — так есть правильно по-латышску.

— Простите меня, Гу́нар! — послушно поправилась она.

— Не «простите», бет... но... Как будет по-русску... на «ты»?

— Прости...

— А, да, да! Что, прощай, мой дорогой мамочка? Это... это... такой велико-леп-ный неправда!

Ты думал тогда, Гунар, о том, что мне шестнадцать лет? Быть может, считал меня ребенком? Ничуть не бывало! Ты увел меня в парк. Ты смеялся, выяснив, что я не умею целоваться. Учил: «Вот так надо губы, мой маленький, мой родной мамочка!»

...А потом, через три года, в мае сорок пятого Гунар снова нашел Варю... Была Победа, Любовь, Счастье. Потом долго ждали ребенка... И, наконец, когда уже перестали надеяться, появилась Лида...

...Варвара Васильевна дочистила последнюю картошку. Вымыла руки, придирчиво их осмотрела. Некрасивые руки, грубые. Те тонны и тонны картошки, что перечистила за войну в «подсобке» госпиталя, оставили неизгладимый след.

Ну и что? Все равно Гунар любил целовать их. Быть может, именно за те, за прошлые труды...

...Само собой, он и ухом не повел, когда она вошла в комнату: его любимец Якушев опять рвался к воротам «Динамо».

Она села на ручку кресла, разворошила его волосы. Неважно, что они поредели, поседели: все равно — самый любимый человек.

— Помнишь, ты хохотал на скамейке, под сиренью, помнишь? Вот тогда я и влюбилась в тебя. На всю жизнь. А мне было шестнадцать лет...

— Да-да.— Кажется, он перестал следить за рывками своего Якушева.— Да. Ну, и что?

— А то, Гунар: мама ни-ког-да не говорила мне, что это дурь!

г. Рига.



П. КРИВОНОГОВ. **Победа** (фрагмент)

Из произведений советских художников, посвященных Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.



Ю. НЕПРИНЦЕВ
Отдых после боя.





Б. ИОГАНСОН. Праздник победы (фрагмент)



Борис
ВАСИЛЬЕВ

КАРТИНЫ НЕ МОЛЧАТ

Великие войны имеют начало, но не имеют конца. Они живут в слезах вдов и матерей, горьком детстве сирот, в стонущих ранах солдат. Зарастают шрамы земли, плуг перепахивает поля сражений, а хлеб долго, невыносимо долго хранит дымную горечь пороха и страданий.

Может быть, поэтому хлеб хочется есть молча?..

Память молчалива. Беззвучен Вечный огонь над могилой Неизвестного солдата. Беззвучны часовые на посту номер один у входа в Мавзолей Владимира Ильича Ленина. И бесконечно долго длится 9 мая Минута молчания. Люди стоят у машин и у столов, в пути и в домах, в Бресте и во Владивостоке, на суше и на море. Стоят там, где застала их эта Минута, отложив дела и склонив головы.

Над двумястами пятьюдесятью миллионами обнаженных голов стучит метроном. Как единое сердце страны.

В эту минуту единой скорби начинают звучать внутренние голоса. Нет, они не сотрясают воздух и не нарушают тишины. Они нарушают нашу тишину, наш покой, они сотрясают нас.

В каждом — я говорю о тех, кто пережил эту войну, кто поседел в двадцать пять и чьи морщины — следы слез, а не улыбок,— в каждом живет кровоточащий обломок войны. Живет. Шевелится. Дышит и душит. И нет на свете ни лекарств, ни наркотиков, способных изгнать из наших сердец этот свой, личный, особый для каждого обломок. Мы приговорены к нему пожизненно, до последнего вздоха, и даже этот последний вздох для очень многих из нас будет пахнуть взрывчаткой.

А грохот — взрывы снарядов и крики умирающих, свист бомб и рыдания матерей, рев пожаров и шелест штыков,— грохот этот, тридцать лет назад покинув мир, застыл в нашей памяти. Он лежит там синеватым кристаллом льда, знакомым холодком сбегая вдруг к сердцу. От старой фотографии. От строчки стихов. От честного фильма. От песен и снов. От случайных встреч и последних расставаний. И тогда возрождается грохот. Грохот потревоженной памяти.

Этот грохот озвучивает мгновения войны, застывшие под кистью художника. Сколько же было этих мгновений в тысяче четырехстах восемнадцати сутках войны! И дело не в том, что сутки длятся двадцать четыре часа: время войны измеряется не тиканьем секундной стрелки, а человеческой жизнью и смертью, человеческой болью и кровью, человеческой любовью, человеческой ненавистью и нечеловеческой волей к победе. Волей, собранной воедино, волей, сфокусированной в одной точке и в конце концов испепелившей фашизм.

Человек не только сын своего Отечества и своего времени: он еще и звено истории. Он соединяет прошлое с будущим: опираясь на героические и нравственные традиции прошлого, человек отдает жизнь за завтрашний день.

О хлебе вспоминают тогда, когда его нет; война вспоминает прошлое, потому что сражается за будущее. Будущее, которого никогда не увидят очень многие.

Может быть, поэтому в лицах солдат, что смотрят на нас сегодня, так много близкого и понятного нам?

«Бесчеловечен человек!..»

Эту страшную мысль высказали тогда, когда еще не было прицельных бомбежек, массовых пулеметных расстрелов, напалма, Освенцима и Хиросимы. Ее с болью сердца выкрикнул неистовый искатель справедливости протопоп Аввакум во времена, когда людская жестокость выражалась в отсечении головы.

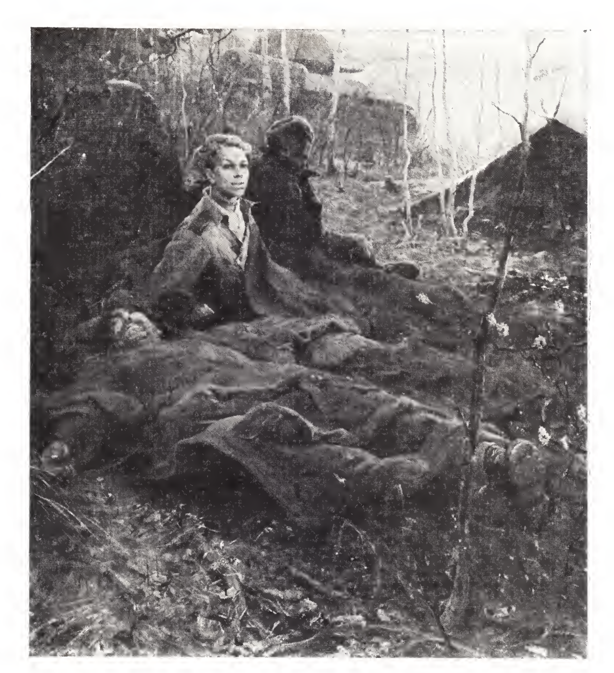
И, вероятно, ничего нет труднее, чем остаться человеком на войне. Человеком!

А в блокадном Ленинграде умирали от голода дети. Вам кажется сейчас, что голод — это когда хочется есть? Нет. Голод — это когда НЕ хочется есть. Уже не хочется, ибо обезумевший организм начинает пожирать самого себя. Нарушаются связи, и желудок высасывает своего хозяина, пока не превращает его в мумию.

А еще была Хатынь и Бабий Яр, душегубки Краснодара и шахты Краснодона, Треблинка и Майданек, подвалы гестапо и виселицы, виселицы, виселицы... И печные трубы с одичавшими кошками на месте деревень.

И надо было пройти сквозь все это и остаться человеком. Остаться человеком — значит, ненавидя врага, сохранить в себе потребность в любви, дружбе, самопожертвовании.

На Западе любят рассуждать о героизме. Вся гигантская мощь буржуазного искусства нацелена сей-



Б. НЕМЕНСКИЙ. Дыхание весны.

час иа героизацию гангстеров и полицейских, заносчивых суперменов и профессиональных убийц в зеленых беретах, шерифов и детективов, диверсантов, шпионов и авантюристов всех мастей. Не во имя объективиости, а с вполне субъективной и конкретной задачей: лишить героизм нравственного иачала.

А ведь героизм не бывает да и не может быть абстрактным. Героизм всегда иационален и социален, потому что он опирается на народную и социальную нравственность. Героизм есть высший взлет человеческого духа, мгновение, когда человек становится нравственно гениальным.

Поэтому мы решительно отказываем убийцам в героизме. Найдите для него любую кличку, но иикогда не называйте его героем. Никогда.

Героем может быть только Человек.

В «Войне и мире» Лев Толстой говорит о «скрытой теплоте патриотизма». Выявить эту скрытую теплоту, согревавшую сердце каждого советского человека, сконцентрировать ее иа единой цели, превратить в грозную всесокрушающую энергию борьбы за независимость Родины — такова была задача народа, партии и правительства. Залог победы был в единстве этих сил, и война подтвердила и многократно умножила это единство.

На Западе любят толковать об особых условиях России, о бесконечных дорогах, непролазной весенней распутице, о снегах и морозах. Да, у нас есть дороги длиною в четверть экватора, у нас яростные весны, а снега — по пояс деревьям. Все это так, но это факт географии, а не аргументация поражения мощнейшей армии мира.

Может быть, причины стойкости следует искать в нашей истории? Да, лестница, по которой восходили народы нашей страны к вершинам цивилизации, была особой: она горела под ногами. Мы карабкались по ней, одной рукой хватаясь за липкие от крови перекладины: вторая рука — правая — была занята мечом. Когда каравеллы Колумба бороздили Атлантический океан, над нашей Родиной еще свистели каленые стрелы крымчаков и по три раза в год дотла сгорали города.

Размышляя о нашей истории, великий поэт России Александр Блок написал «Скифов». Там есть такая строфа:

> Для вас — века, для нас — единый час.
> Мы, как послушные холопы,
> Держали щит меж двух враждебных рас
> Монголов и Европы.

Через четыре столетия последний великий завоеватель напрасно ждал ключей от нашей столицы. Вместо хлеба и соли Москва встретила его пожаром. «Скифы!» — сказал император.— Они жгут собственный город...» И приказал отступать.

А русские войска шли за ним по пятам неотвратимо, как возмездие. И веселые донские казаки, разъезжая по Парижу, кричали хозяевам таверн: «Вина! Быстро!» Чубатые кентавры вскоре уехали, а словцо осталось, и прижилось, и живет до сих пор, чуть смягчившись от частого употребления.

Да, далекая история поможет ответить на многое, но о главном она все-таки умолчит. Не из скромности, а по незнанию, потому что главный ответ дала совсем другая История. Молодая, горластая, в разбитых сапогах и буденовке с огромной красной звездой. Она промчалась на яростном коне, сокрушив армии четырнадцати держав и только тогда остановила запаленного коня.

Перед юной Историей лежало великое пространство, иссушенное пожарами и обильно политое кровью.

Остановимся и мы. Остановимся для того, чтобы оглянуться, а оглянемся, чтобы задуматься.

Двадцатый век вплел в лавровый венок нашего Отечества еще одну загадку для Европы. Необъяснимую для всего буржуазного мира победу в мучительно длинной, жестокой и бескомпромиссной гражданской войне.

Человечество было потрясено, но это потрясение оказалось далеко не последним. Через четверть века великое, дотла разоренное пространство стало Великой Державой.

Путь от победы в Гражданской войне до победы над фашистской Германией есть путь от великого пространства до Великой Державы. Понять, что двигало нами на этом пути,— значит понять и оценить нашу победу 9 мая 1945 года.

У человека, где бы он ни жил, есть только два нравственных пути. Либо он усваивает, что жизнь дороже истины, и тогда его ждет тупик — даже, если и собственная вилла на нежном побережье Калифорнии или Ниццы. Тупик потому, что во имя собственной жизни он предаст самую святую Истину, отречется от Родины, донесет на родного брата и проклянет учителя своего.

Но человек может избрать иную дорогу. Не по традиции и не по семейной привычке, а только по личному убеждению он открывает, что истина дороже жизни. Во имя этой истины он идет на каторгу и на эшафот, восходит на костер и вмерзает в ледяные глыбы. Бой за истину он предпочитает обывательскому стремлению уцелеть, любой ценой уцелеть.

Мы обладаем этой истиной. Основы ее заложены Марксом и Лениным, а партия донесла ее до сознания народа, вооружила его этой основной глобальной идеей двадцатого века и воспитала в служении ей. Овладев массами, идея стала материальной силой.

Именно эту материальную силу не учли — да и не могли учесть! — стратеги и политики фашистской Германии. И именно она в конечном итоге сломала хребет самой профессиональной, самой вымуштрованной и самой технически оснащенной армии мировой реакции.

Таковы факты.

Мы привыкли к фактам. Исторический миг, схваченный фотоаппаратом или кинокамерой на улицах Белфаста, в каменистых пустынях Палестины, во льдах Антарктиды или в джунглях Индии, с помощью печати, кино и телевидения становится достоянием человечества в считанные часы. Мы безоговорочно верим фактам, а журналисты и комментаторы, представляя их нам, с особым удовольствием подчеркивают документальную бесстрастность запечатленного техникой события.

Все это так, только... Только факт — это далеко не вся правда. Факт — кусочек правды, ибо у зафиксированного навеки факта обрублены причинно-следственные связи. Отвечая на вопрос «К а к?», он не отвечает на вопрос: «П о ч е м у?». Бесстрастность фотоаппарата оборачивается недостаточностью факта, его ограниченностью, превращая факт в частный случай.

Сила художественного документа — а настоящее искусство всегда есть документ истории — заключена в ином: в страстности художника, в его сугубо личном отношении, понимании и представлении того или иного события. Содержание фотографии есть сама фотография, содержание художественного полотна всегда выходит за его рамки, заставляя нас не только видеть, но и слышать, не только чувствовать, но и думать.

Картины кричат и шепчут, рыдают и смеются, любят и ненавидят. Разве вы не слышите топот сапог Верещагинского «Смертельно раненного», глухие, разрывающие сердце рыдания сыноубийцы Грозного или исступленный завет боярыни Морозовой?

Картины живут, как живут герои великих произведений литературы, и рафаэлевская мадонна по-прежнему протягивает нам, сегодняшним людям, своего младенца. Как и столетия назад, воюет со злом и несправедливостью Дон Кихот Ламанчский, Тарас Бульба расстреливает за измену своего сына, а Григорий Мелехов до сих пор рыдает на могиле Аксиньи, глядя на черное солнце.

Мир, увиденный художником, осмысленнее, резче и глубже реального человеческого существования.

И в этом сила, необходимость и бессмертие искусства.

●

К 70-летию со дня рождения М. А. ШОЛОХОВА

ГЛУБИНЫ ОБРАЗА

Среди крупнейших мастеров художественной литературы XX века — имя Михаила Шолохова. Его произведения раскрыли нам, его соотечественникам, и всему миру великую гуманистическую правду Октябрьской революции и выразили неудержимое стремление людей труда к обновлению жизни, к построению социалистического общества. Семидесятилетие автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины» стало праздником всей советской литературы, радостным днем для миллионов читателей шолоховских книг. «Юность» сердечно поздравляет Михаила Александровича Шолохова и желает ему доброго здоровья, новых творческих свершений. В предыдущих номерах журнала был напечатан ряд материалов, посвященных юбилею выдающегося писателя. В этом номере мы публикуем статьи критика Анатолия Бочарова и крупнейшего болгарского прозаика Георгия Караславова.



Фото Н. КОЧНЕВА.

Значение каждого художника можно постичь, осознав его творчество в полном объеме. Но почувствовать глубину, многогранность его таланта можно и в отдельных, крупнейших созданиях писателя.

Образ Григория Мелехова освещает все творчество Михаила Шолохова. Григорий — одна из тех великих художественных фигур, которые возбуждают кипение споров, страстей, мнений, ибо допускают многозначное их восприятие в зависимости от духовного мира и жизненных ассоциаций самого читателя.

В характере Мелехова причудливо скрещиваются самые разные истоки, самые разные «параметры» личности: черты труженика, свойства собственника, сословные предрассудки, личностные психобиологические качества. И так как они способны давать в каждом случае бесконечное количество непрограммируемых сочетаний, то и характер у него многосложный, который не поддается удобному типологическому определению, не позволяет рассчитывать его поступки по какому-либо одному стереотипу, по какой-либо одной предложенной ему социальной роли.

Многослойность побуждений и душевных порывов делает его великим художественным образом. А точная и полная событийно-бытовая мотивировка поступков — великим историческим образом, запечатлевшим сложнейшую и противоречивейшую эпоху перехода от старого мира к новому. Но с течением времени все больше волнует своим событийным, философским смыслом, как то происходило со всеми великими образами. Выросшие на конкретной историко-бытовой почве Дон-Кихот, Гамлет, Раскольников, Фауст становятся затем не только образом, но и своего рода философской идеей, знаменуют собою ту или иную вечную проблему человеческого бытия, обретающую новые аспекты в очередной исторической ситуации.

Многие критики и посейчас сводят значение Григория к воплощению «судеб средних слоев в революции», двойственности и противоречивости их социальной психологии.

Есть правда и в этом. Конечно, судьба Мелехова отразила сложные и мучительные переживания и настроения большой массы среднего крестьянства. Но в том-то и дело, что ведь не только среднего. И не только крестьянства. Вопрос о свободе воли в эпоху великих исторических потрясений есть вопрос общечеловеческий. Идея свободы без учета конкретно-исторических обстоятельств есть идея мелкобуржуазная, но идея реальной свободы есть движущая идея всего человеческого существования. И, пожалуй, самое главное, что показала судьба Григория: в эпоху исторических потрясений человек не может жить так, как хочет; он должен жить так, как хочет народ.

Реализуя такую вечную и каждый раз заново решаемую проблему, Григорий Мелехов — фигура трагическая, как бывают трагичны все великие образы, поскольку в каждом из них заложено значительное историческое противоречие, которое они стараются разрешить — и разрешить не могут.

В статье «Мировое значение М. Шолохова» П. Палиевский, выводя этот образ из социальной роли крестьянства, правильно заметил, что шолоховский художественный мир «ни секунды не колеблется перед таким понятием, как личность. Не отвергает ее и, без сомнения, чтит, но, если надо, свободно перешагивает. Сострадание и сочувствие к ней не исчезают; но одновременно идет одергивание, обламывание, обкатывание ее в колоссальных смещениях целого. Среди раздвигающихся таким образом противоречий, ни одну сторону которых мы не в состоянии отбросить, открывается гуманизм непривычного масштаба».

Это роковое противоречие реального гуманизма — «чтит, но, если надо, свободно перешагивает» — и предопределило суть образа главного героя эпопеи, в судьбе которого слились общесоциальный, общечеловеческий и общефилософский выводы. Вместо мира гармонии перед нами мир дисгармонии. Трагический художественный тип.

Участью своего героя Шолохов вторгся в один из самых главных вопросов нынешнего времени: где проходит грань между личной ответственностью и социально-исторической предопределенностью, насколько человек властен над своей судьбой.

Бесспорно, что поведение человека определено условиями его бытия, логикой событий, но, по точному замечанию Ленина, это не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий. Возможный конфликт между неизбежным и желаемым и есть общечеловеческая суть показанной нам участи.

Современная зарубежная литература утверждает диктат обстоятельств, которые подчиняют волю и желания человека, заставляют склонить голову перед мистической силой, которая находится где-то вне его, над ним, навязывает ему определенные поступки и в конце концов вершит его судьбу. И в этом смысле судьба Григория для многих еще одна модель трагедийного мировоззрения: человек оказывается сломлен непонятными ему враждебными и неотвратимыми силами, не содержащими в себе ни логики, ни гарантии гуманности.

Между тем трагедия Григория — случай особого рода; в нем нет фатального столкновения между человеком и роком, а есть трагизм личности, не понявшей исторической логики.

Трагическое — совсем не синоним ужасного, печального, не тема повествования о бедах, горестях, утратах, а определенный характер художественного разрешения жизненных противоречий, включающий в себя трагический выбор, трагическую вину, трагический финал.

Только во внутреннем их взаимодействии можно постичь смысл образа Григория. И наиболее частый просчет сегодняшней критики как раз состоит в том, что, правильно ощутив одно из звеньев, упускают из виду два других.

Герой истинной трагедии — не бессильная жертва пагубных жизненных обстоятельств, неотвратимых исторических сил, а активная личность, обладающая свободой выбора в бескомпромиссных обстоятельствах: такой свободой и отличается величественная судьба от просто горестной юдоли.

Выбор, совершаемый таким героем,— и бедствие и благо: грозя гибелью, он дает выход активности человека, вызывает к максимальному действию все его силы.

Вспомним: Мелехов все время оказывается в кризисной ситуации, он беспрестанно должен выбирать. И в этом общефилософское значение трагического выбора, о котором писал Маркс: «Творить мировую историю было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо-благоприятных шансов». Как всякий трагический герой, Григорий не знает исхода своего выбора, но не старается любой ценой — даже ценой утраты совести — ухватить «непогрешимо-благоприятный шанс». Суть героя — в единоборстве с судьбой, не совпадающей с его идеалами, а не в подлаживании к ней.

Жизнь много раз позволяла Григорию сделать благоприятный для устройства его судьбы выбор: он мог преодолеть искусительные речи Изварина, мог уйти в Красную Армию еще до казни Подтелкова, мог дослужить в буденновской коннице до конца донского «брожения», мог искать справедливости у

власти повыше Кошевого, а не сбегать, чтоб очутиться в банде Фомина.

Каждый раз он совершал самостоятельный выбор и каждый раз терпел жизненное поражение. За это бессилие что-либо изменить или утвердить в окружающем мире сближают часто Григория с героями Кафки и Камю, для которых стечение независимых от их воли обстоятельств создавало безвыходно заколдованный круг.

Но в отличие от героев этих трагичных писателей в выборе Григория смешались разные — а не только метафизические — причины. Перед нами не абстрактно мифологизированный, а, наоборот, окунутый в бытовую толщу, в историческую конкретику выбор. При всей философической значимости героя «Тихий Дон» не роман-притча, не роман-миф, а эпопея. Судьба собственника, судьба труженика, судьба казака, судьба незаурядной личности — все накрепко завязалось в один узел, мешая человеку понять ту историческую логику, по которой свобода — это познанная необходимость.

Одно из ключевых мест книги — знаменитый вещий сон Григория о том, как он отстал от поскакавшего в атаку полка, потому что в последнюю секунду заметил отпущенные подпруги. «Охваченный стыдом и ужасом, он прыгнул с коня, чтобы затянуть подпруги, и в это время услышал мгновенно возникший и уже стремительно удалявшийся грохот конских копыт.

Полк пошел в атаку без него».

В этом двойственном ощущении — суть трагического выбора Григория: стыдом охвачен потому, что выбор неправильный, а ужасом потому, что провидит участь человека, оторвавшегося от народа.

Выбор Григория всякий раз корректируется тем, как действует в этой же критической ситуации народ, какие перемены происходят в его сознании и положении. Тем самым писатель реалистически демонстрирует, куда м о г пойти герой.

Однажды Шолохов заметил: «Я описываю борьбу белых с красными, а не борьбу красных с белыми. В этом большая трудность».

Но в этом и объяснение трагизма Григория: активная личность совершает неправильный выбор.

С другой стороны, сколь далеко ни заходил процесс нравственного опустошения Григория, он всегда отделен от убежденных народоненавистников — Листницких, Фицхалаурова и т. д. Если позволено допустить каламбур, он всегда белая ворона среди белого воинства.

Роман преобразуется в эпопею потому, что в центре его не ничтожная фигура отщепенца, а трагическая участь смятенной души.

Последовательная цепь поступков Григория ведет к тому, что в конце книги он остается один, и социальное значение его фигуры сужается от образа человека, в котором воплощались настроения основной массы крестьянства, до образа одиночки, потерявшего необходимые ориентиры. Но в то же время оно философски расширяется до трагедии отчужденной личности. И еще шире — до единоборства свободы и необходимости в душе человека.

Так возникает понятие трагической вины в сложном переплетении активной воли и трагического заблуждения.

В понятии трагической вины кроется ответ на вопрос о том, в какой мере человек — творец бытия и в какой — его жертва. В том-то и заключено своеобразие такой вины, что вроде и вины нет, а повинен!

Если одни критики целиком виноватят Григория, то другие полагают, будто никакой вины на нем не лежит, ибо он лишь жертва роковых обстоятельств.

Самые разные критики сходятся на том, что последней каплей была фраза Кошевого в разговоре с Григорием: «Раз проштрафился — получай свой паек с довеском».

Но одни полагают, что иначе Кошевой и не мог поступить, поскольку таковы были законы и нравы эпохи, судившей скоро, строго, без снисхождения. И получается, что опять никто не виноват: Григория вынудил Кошевой, а тому эпоха диктовала; свершилось лишь то, что неминуемо должно было свершиться. Но это и есть плоский детерминизм, отвергающий всякую свободу воли и, стало быть, трагическую вину.

А другие внушают, что будь на месте Кошевого более гибкий и гуманный руководитель, то Григорий был бы спасен.

Да, Григорий был бы спасен. Но зато роман бесповоротно загублен: эмоциональная сила этой фигуры — в искуплении трагической вины, а не в утешительном избавлении от бедствий. Ведь перед нами роман-трагедия: его эстетическая суть не в иллюстрации тех обстоятельств, при которых герой обретает счастье и благополучие, а в постижении истоков, следствий и характера объективной вины свободной личности, которая не может жить по своей воле, ибо эта воля идет вразрез с историей.

В трагической вине — и непременном искуплении ее — запечатлена ответственность человека за его свободное активное действие не только перед собой, но и перед историей. «Неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый»,— говорит Григорий Наталье. И в этом — осознание им самим его трагической вины, отвергающей представление о человеке только как о жертве, песчинке, винтике.

Сознание трагической вины и дарует читателю то, что еще с античных времен именуют катарсисом — нравственным очищением от невыразимой душевной тяжести, которое достигается совместным воздействием ужаса и сострадания. И это очень важно подчеркнуть: ужаса и сострадания!

Истинная трагедия рождается на пересечении нравственной силы героя и душевной скорби читателя. Именно сострадательной скорби, а не злорадства, не гнева, не отвращения. Мы должны любить трагического героя — только потрясение любящего сердца дает должный нравственный эффект, пробуждая желание задуматься над правильным выходом. Но выходом не в сюжетное благополучие, а в нравственный урок.

И напрасно «оптимизирует» финал романа В. Петелин: «В «Тихом Доне» нет ни духовной гибели героя, ни физической его смерти. Мелехов мужественно идет в родной хутор д о а м н и с т и и, и это дает возможность утверждать, что в нем сохранились нравственные условия для дальнейшей жизни в новой, социалистической стране, дружественной человеку труда».

Так старается он приблагополучить удел героя и тем исключить его вину. Но смысл судьбы Григория как раз в трагическом финале — искуплении вины; потрясая ужасом и состраданием, он заставляет нас задуматься над местом, значением, ответственностью человека, а отнюдь не над тем, как бы отыскать «счастливый финал» для самого Григория.

Да и разве содержится в заключительных строках романа хоть что-либо похожее на радужный вывод В. Петелина: «Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына... Это было все, что... пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром»?!

Холодное отчаяние героя куда как далеко от сердечного жара критика!

По мере метаний Григория, по мере того, как все туже затягивается петля его трагической вины, все более блекнет, угасает физически этот ловкий, смелый, решительный парень. И по художнической логике романа было крайне важно проследить ужасные последствия ошибочного выбора прежде всего для самого человека, убедить и потрясти нас не свершенным наказанием — фактором, в сущности, внешним,— а неминуемой утратой личности.

Физическое угасание и душевное оскудение — будто бушующие вихри обрывают постепенно всю листву, оставляя голый черный осенний ствол,— служат исторической парой Григорию.

Когда Мелехов возвращается из Красной Армии, он, казалось, должен ликовать: все метания остались позади, он утвердился на верном пути. Но почему же подводчица думает: «Он не дюже старый, хоть и седой... Все глаза прижмуряет, чего он их прижмуряет? Как, скажи, уж такой он уморенный, как, скажи, на нем воза возили».

И это — предвестие будущих скитаний: ничего еще для Григория не решено, и тот вещий сон ему приснится вскоре после возвращения...

Художественно реализует ту трагическую воронку, куда жизнь стремительно затягивает Григория, и эпитет «черный», который все чаще появляется к концу романа. Вот он возится с ребятишками — и взгляд писателя падает на «большие черные руки отца, обнимавшие их». Снова отправляется он туда, где «черная смерть метит казаков», и его провожает Наталья; оглянувшись, он видит, как свежий предутренний ветерок «рвет из рук ее черную траурную косынку». А знаменитый «ослепительно сияющий черный диск солнца», который открылся ему над могилой Аксиньи! Аксиньи, чья смерть эмоционально утяжеляет трагическую вину Григория.

И, наконец, потрясающая картина пáла, завершающаяся прямым сравнением: «Как выжженная пáлами степь, черна стала жизнь Григория».

Так вырастает одна из самых трагических фигур XX века, века войн и революций, века осознания личностью своей значительности и ответственности.

Вдумайтесь неспешно в эту судьбу — и откроется много поучительного для сегодняшней и завтрашней жизни. Вспоенный особыми, исключительными условиями, этот образ обрел всеобщее значение: как найти свое место в мире?!

А. БОЧАРОВ

Георгий КАРАСЛАВОВ

ШОЛОХОВ В БОЛГАРИИ

В 30-е годы редко, окольными путями, главным образом через библиотеки различных государственных учреждений, в которых работали прогрессивные, честные чиновники, попадали в руки интересующихся болгарских граждан советские периодические издания. Монархо-фашистская власть панически боялась советского слова. Полицейский аппарат следил, чтобы советские журналы и газеты не попадали к болгарскому читателю. А жажда советского печатного слова у нас была необычайной. Языковой барьер незначителен, поэтому даже в самые мрачные периоды мракобесия, учитывая большую любовь болгарского народа к России — нашей освободительнице от турецкого ига, власти не посмели запретить изучение русского языка в средних учебных заведениях и в университете.

Сведения о Советском Союзе вообще и, в частности, о советских писателях и о советской литературе приходили из Германии, Франции, Чехословакии: периодические издания этих стран можно было свободно получать в Болгарии. Но были и другие «каналы»: между обычных немецких, французских и других газет и журналов были спрятаны советские журналы и газеты. Главным образом через Берлин к нам попадали и книги советских писателей. Они проходили строгую полицейскую цензуру. Допускались лишь книги «невинного» содержания — исторического, бытописательского...

Сначала в Болгарию не была допущена и первая часть «Тихого Дона», слава которого быстро распространилась и за границами Советского Союза.

Впервые я увидел первую книгу этого произведения в 1929 году, и то в переводе на немецкий. Увидел я ее в Праге, в Чехословакии, где был студентом. Она была красиво издана, среднего формата, в цветной обложке несколько рекламного стиля.

Судя по тому, что первая часть романа Шолохова была переведена на немецкий и издана в таком хорошем оформлении, я был уверен, что это автор уже зрелого возраста, и никак не мог представить себе, что он молодой, двадцатипятилетний человек. Подробнее о советской литературе и о Шолохове болгарские читатели стали узнавать после 1934 года, когда между Болгарией и Советским Союзом были установлены дипломатические отношения. Благодаря непрестанно возрастающему политическому, экономическому и культурному влиянию Советского Союза в мировом масштабе реакционное болгарское правительство было вынуждено установить с ним дипломатические связи. В Софии был открыт и магазин советской книги. Разрешили также свободную продажу советских книг и некоторых советских журналов. В киосках появилась газета «Известия».

Болгарские читатели познакомились с биографией Шолохова. Познакомились и с первой книгой «Тихого Дона», переведенной на болгарский язык и изданной значительным по тому времени тиражом. Книга переходила из рук в руки и читалась с необычайным интересом. Эта первая часть замечательной эпопеи показала болгарскому читателю, каких высот достигла советская литература. Это был образец нового художественного реализма. Еще первая книга «Тихого Дона» в пух и прах развеяла клевету буржуазных критиков и литературоведов, толковавших о том, что социалистический реализм ограничивает и стесняет творческие возможности писателя, губит свежесть повествования, приводит к шаблону человеческие характеры... В первой книге «Тихого Дона» Шолохов дал широкую, внушительную картину казацкого быта, нравов и обычаев периода первой мировой войны. Болгарские читатели много слышали и читали о казаках, но впервые на страницах «Тихого Дона» как на ладони они увидели истинный характер казачества. Книга захватывала внимание читателя и держала его в напряжении до последней страницы.

Когда вышла первая часть эпопеи, в Болгарии бушевал глубокий экономический кризис. Даже в середине тридцатых годов правительство не в состоянии было платить зарплату служащим. Сельскохозяйственные продукты продавались по себестоимости, люди бедствовали, голодали, поденная плата рабочих была мизерной, безработица была тяжкой, кошмарной.

Люди не имели денег на хлеб, не только на книги. В связи с этим тиражи любимых книг, особенно тираж «Тихого Дона», не давали представления о количестве читателей, так как книга переходила из рук в руки.

Интерес ко второй части «Тихого Дона» был огромен. Бурные события кануна Великой Октябрьской социалистической революции и ее начала, развернутые с редким, ярким художественным мастерством, прочитывались не переводя дыхания. Во второй части отражен был грандиозный размах события, которое потрясло не только прогнившую русскую империю, но и весь мир.

Богатым, колоритным языком, гибким стилем, великолепными сравнениями, мастерски нарисованными картинами природы, документально и правдиво Шолохов запечатлел период гражданской войны в Донской области, и в этом, как в зеркале, отразилась и динамика революции во всех областях и уголках бескрайней Советской земли.

Читатели верили Шолохову, понимали движущие силы Великого Октября, который вел победившие советские народы к новым эпохальным завоеваниям. Таково было впечатление, произведенное на читателей «Тихим Доном» в то время, когда в Болгарии набирали силы трудящиеся массы, ведомые БКП.

В свободной Болгарии были изданы все четыре тома «Тихого Дона». Оформленные просто и со вкусом, они были моментально раскуплены читателями и уже спустя несколько месяцев стали библиографической редкостью. В общественных и в частных библиотеках они стояли рядом с величайшими, прославленными русскими и мировыми классиками.

С редким интересом был встречен и роман «Поднятая целина», изданный в годы монархо-фашистской диктатуры. Полицейская цензура допустила издание этого романа на болгарском языке в надежде на то, что благодаря своему особому сюжету он не заинтересует читателей. Но случилось непредвиденное: «Поднятая целина» получила особое политическое звучание. В Болгарии уже много говорилось о колхозном строительстве в Советском Союзе, это была новая форма власти над землей с совершенно новым содержанием. Роман нашел широкий отклик среди прогрессивной сельской интеллигенции. Он читался не только как неповторимое художественное произведение, но и был примером по организации кооперативной работы на селе.

Сейчас, когда народы Советского Союза, народы социалистических стран и прогрессивные люди всего мира отмечают семидесятилетие Михаила Шолохова, болгарские читатели от всего сердца желают ему здоровья и долголетия, уверенные, что еще будут иметь радость читать его новые замечательные произведения и учиться по ним.

Перевод с болгарского
Н. ОГНЕВОЙ

г. София.

Аугустинас САВИЦКАС

МАТЬ, СОЛДАТ, ЗЕМЛЯ

Аугустинас Савицкас — известный литовский живописец, заслуженный деятель искусств Литовской ССР, лауреат Государственной республиканской премии, профессор. Публикацией его статьи «Юность» продолжает цикл рассказов мастеров литературы и искусства о своем творческом опыте, о процессе создания книги, картины, кинофильма, музыки, спектакля или скульптуры...

Нет, не всегда ласково светит над нами солнце, не всегда в состоянии человек радоваться теплу и свету, любоваться голубизной озер.

1963 и 1964 годы вновь напомнили мне, что на нашей земле побывала смерть и что даже сейчас она бродит где-то поблизости...

Однажды в 1963 году меня вызвали в прокуратуру. Направляясь туда с повесткой, я недоуменно размышлял, чем бы это мог провиниться, но никаких особых грехов за собой не мог вспомнить. Приняли меня там любезно и объяснили, что мне предстоит в качестве единственного представителя от Советской Литвы быть свидетелем обвинения на процессе, возбужденном против нацистского преступника Глобке, каковой жив-здоров и служит в Федеративной Республике Германии.

И я отправился в Берлин. На процессе я выступил с речью, рассказал суду о гибели моего брата и матери. Выступали свидетели из Риги, Таллина, Минска — сотни людей. Глобке был уполномочен самим Гитлером отторгнуть от Литвы Клайпедский край. Жители края должны были подвергнуться поголовному онемечиванию. Деяния Глобке вели к концлагерям Эйхмана, где гибли миллионы людей.

На процесс прибыли свидетели со всего мира.

Известная немецкая художница Леа Грундиг потеряла в войну 17 родственников, а были и такие, которые утратили 30, 60, 76 близких людей... Жуткие, страшные цифры, они сливаются в сотни, тысячи, миллионы...

Стояло знойное лето, жители немецкой столицы попивали пиво в подвальных кабачках, где было прохладно, уютно и даже весело. Казалось, нет на свете ни войны, ни смерти, а только эти уставленные бокалами столики.

Никогда не забуду зрелища: бывшие узники лагерей смерти вдруг встречались у здания суда в Берлине, не верили своим глазам и горячо обнимались после долгих лет разлуки.

Звучали взволнованные речи свидетелей обвинения, а преступник, сам обвиняемый, разгуливал где-то с улыбочкой на физиономии.

Гитлеровских убийц, кровавых преступников я видел и в Каунасе, в Вильнюсе, на судебных процессах. Озлобленные, перепуганные, подлые сидели они в ожидании приговора. Я рисовал их невзрачные физиономии, ловил взгляд затравленного волка. Потом писал жуткие сцены экзекуций, разрабатывал замыслы будущих картин.

В эту пору и пейзаж у меня становился особенно темным, в нем преобладало угнетенное настроение.

Летом 1964 года несколько прояснилось настроение, когда мы с женой совершили поездку в Польскую Народную Республику. Я с радостью писал виды прекрасного Кракова и пляж в Сопоте; было приятно видеть жизнерадостных, загорелых, молодых людей.

Польская молодежь мила, энергична, она любит юмор и умеет веселиться.

Жизнь, веселье били ключом. В Варшаве праздновали День Возрождения, и я писал акварелью украшенный флагами город.

И вот из Варшавы мы двинулись в Освенцим, а из Сопота — в Штуттгоф. Тени смерти заслонили свет жизни.

В Штуттгофе есть музей, и я сделал для него несколько копий с моих рисунков. Нам, литовской группе, хотелось увидеть места, описанные нашим пи-

сателем Балисом Сруогой в романе «Лес богов». Мы нашли их, эти жуткие уголки, и я запечатлел наблюдательную вышку, крематорий, газовую камеру, женский барак, общий вид лагеря...

В Освенциме я долго стоял у стены, где фашисты расстреливали заключенных...

Прошлое неумолимо напоминало о себе, не давало успокоиться. В те годы я начал работать над тремя картинами, направленными против войны, против фашизма.

В 1965 году я закончил свои крупные фигурные картины: «Реквием жертвам фашизма», «В освобожденном Вильнюсе. Лето 1944 года» и «В сожженном фашистами селе. Над павшими».

Как ни странно, этим большим фигурным картинам предшествовали совсем иные по теме и настроению произведения, но именно они — пейзажи, портреты, зарисовки — подготовили почву для трех больших картин.

Если бы им не предшествовал цикл «Беспокойное путешествие», вряд ли бы я сумел преодолеть сопротивление столь сложного в тематическом и композиционном отношении материала. Правда, картины этого цикла я решал совсем по-иному, но приобретенный опыт позволял за них взяться куда увереннней, чем это было бы без предшествующего обширного цикла разных по теме и исполнению картин. Здесь я опять исходил в основном из народного творчества, из его главных традиций: скульптурность формы, монументальность композиции, колорит, символика.

Работая над картиной «Реквием жертвам фашизма», я старался как можно более глубоко развить тему Матери, найти для нее богатые и разнообразные аспекты. Я очень долго уточнял композиционную схему «Реквиема». Вначале полагал решить тему в форме триптиха. Боковые, более узкие части должны были изображать семьи крестьян и партизан, а в центре — люди перед расстрелом. Позднее на боковых частях я поместил по одной фигуре или голове. Затем у меня возникла мысль развить центральную часть до триптиха. Потом в центре я поместил сцену расстрела. В одном из окончательных вариантов решил, что левая часть должна была изображать расстрел, центральная называлась «Между жизнью и смертью», в правой показывалось освобождение узников из концлагеря солдатами Красной Армии.

Два года я работал над эскизами, но в конце концов отбросил замысел триптиха — мне начало казаться, что он будет дробить единую композицию, внесет в нее элемент литературной повествовательности. Решил все сконцентрировать в одной картине, изображающей советских людей, находящихся между жизнью и смертью.

Вот одна мать упала на землю и прижала к себе в отчаянии самое дорогое, что у нее есть,— ребенка; другая, став на колени, судорожно припала к грудному младенцу (мы видим только часть ее лица и спину, покрытую шалью). Мать, находящаяся в левой части картины,— композиционный центр полотна. Здесь я использовал цветовые и световые контрасты — лицо женщины обрамлено черным платком и ясно читается на светлом фоне неба. Она вся ушла в себя, в свои трагические переживания. Когда я работал над образом этой матери, я представлял себе наши деревянные скульптуры святых, называемых «смуткяляй», думал и о литовской народной графике, о старой русской иконописи, которую страстно люблю. Но все это я старался профильтровать через свое понимание задач живописи — живописи, связанной с достижениями нашего века, давшего Пикассо, Гуттузо, мексиканских мастеров живописи, заново открывшей и Джотто и Эль Греко...

Народное творчество и великие мастера прошлого и современного искусства вдохновляют не только многих литовских художников, но и живописцев других республик Советского Союза, которые борются за гуманистическое искусство, хотят сказать свое слово о человеке, как это сделал мой друг поэт Э. Межелайтис в поэзии, а скульптор Г. Йокубонис — в памятнике жертвам фашизма.

Борьба за человека, за гуманные идеи социализма — основная наша задача. Йокубонис и Межелайтис говорят о человеке не традиционно. Новые мысли они выражают новыми средствами искусства, в новой художественной форме. Новаторство, по-моему, и есть признак истинного искусства. Это неоднократно доказывали лучшие художники нашей страны, многие русские художники начала нашего столетия.

Если «Реквием» я писал несколько лет, то «В освобожденном Вильнюсе. Лето 1944 года» и «В сожженном фашистами селе. Над павшими» я написал «на одном дыхании»: за несколько месяцев одну картину и примерно за столько же времени другую. В этой второй картине я думал о Пирчюписе, но решил отдалиться от изображения конкретной местности. Меня волновала не только трагедия литовского села, но и трагедии, постигшие села Белоруссии, Латвии, Эстонии, России...

Я сделал эскиз удлиненного формата, который взял за основу картины «В сожженном фашистами селе», но впоследствии начал его сужать, поскольку видел, что растянутый фрагмент не позволит сосредоточиться. Аналогичным путем развивались поиски в картине «Реквием жертвам фашизма».

Я старался как можно больше обобщить, избегая схематизма в трактовке образа, найти индивидуальную характеристику для каждого персонажа картины. Одновременно стремился использовать возможности колорита — «поднять» цветовую гамму, «углубить» ее звучание, избегая впадать в крикливость красок. «Трагедия Пирчюписа» была первым шагом в этой области перед созданием картины «В сожженном фашистами селе».

Мои антивоенные картины — это воспоминания солдата, покинувшего горящий Вильнюс. Это боль при виде освобожденного города, лежащего в развалинах. Это скорбь человека, который не в силах забыть сожженные села Белоруссии, России, родной Литвы, скорбь человека, который, как и запечатленные на холсте крестьяне, охвачен тоской по безвременно ушедшим из жизни близким людям...

Я с волнением наблюдал, как люди останавливались перед картинами в выставочном зале, внимательно и строго разглядывали их, обсуждали между собой. Отрадно было также замечать, что более взыскателен и строг стал так называемый «средний», рядовой посетитель выставки.

Мне казалось, что все, чего я достиг,— это еще только начало. Я еще не разгадал всей глубины народной мудрости, не постиг ее целиком, а только она позволит художнику полностью овладеть мастерством.

Наряду с тематической картиной, где я искал четко выраженной идейно-художественной связи между человеком и пейзажем, я занимался в этот период и собственно пейзажем. В такой картине, как, например, «Пляж в Паланге», трудно провести границу между жанровой картиной и «чистым» пейзажем.

Долгое время в Государственном художественном музее Литовской ССР моя работа «Колхозный сад» висела рядом с картиной «В сожженном фашистами селе». И это было не случайно.

Обе работы различны по своему настроению, по колориту и композиции. Это как бы два противоположных мира. В одном царит скорбь — глубокие черные, синие, зеленые, бурые пятна. Общий колорит «золотой», с красными «блестками», точно каплями крови. Главное место в картине отведено большим фигурам.

Другое полотно — радость, ликование, изобилие, жизнь бьет ключом. Тут царят яркие, светлые краски — залитый солнечным светом луг, вдали белые лошади, сочная листва, мелкие, пестрые фигурки сборщиц урожая.

Из этого праздничного сада нас уводит вдаль светлый луг — точно дорога среди деревьев, за которыми открывается простор синего неба с одним-единственным белым облачком.

С годами тема войны и мира не только не ослабевала, но даже более настойчиво звала. Война слишком прочно врезалась в мою молодость, а мир — мир всегда был мечтой и целью.

...Хемингуэй говорил, что его поколение — это «потерянное поколение». Мы — те, кто родился сразу после Октября,— живы сознанием, что мы — поколение революции, Великой Отечественной войны (мы тогда были молодыми солдатами), а теперь — поколение мира, и, конечно, хотелось бы всегда оставаться поколением мира...

Когда Анри Матисс писал свои волшебные картины на берегу лазурного Средиземного моря, в Ривьере, он мог радоваться солнцу, чистому небу и признаваться, что мечтает об «искусстве уравновешенном, чистом, покойном, без волнующего или захватывающего сюжета». Ему хотелось, чтобы зритель перед его живописью вкушал покой и отдых. Этого он и добился. Где-где, а уж перед его картинами всегда испытываешь особенную духовную уравновешенность, эстетическое спокойствие, если позволительно так выразиться. Но мы поколение иное. Мы действовали в комсомольском подполье при фашистском режиме, нам довелось пережить трагедию отступления Красной Армии, мы познали голод, холод, болезни и лишения, а, возвратившись с победой, нашли могилы близких.

Можем ли мы писать только о солнце и чистом небе?

Я вспоминаю одну карикатуру французского художника. Она носит название «Искусство для искусства». Сюжет таков: большое дерево, на нем повешен негр, под деревом сидит художник и пишет букет цветов — все прочее его не интересует. Аналогичная тема разработана у мексиканского художника Д. А. Сикейроса: плачущая женщина, а рядом с ней маленький художник выписывает букет цветов («Эстет в драме», 1944).

Я, конечно, не против Анри Матисса, не против натюрморта, пейзажа. Наоборот, для меня Матисс — это художник, у которого можно всю жизнь учиться и всю жизнь восхищаться его живописью. Я большой поклонник натюрморта, и сам часто его пишу. Пейзаж я люблю страстно и всю жизнь пишу и буду его писать.

Выставка без портрета, без пейзажа, без натюрморта была бы очень неинтересна. Эти жанры вносят в нее много разнообразия, много тепла, какого-то уюта, о котором мечтал и Анри Матисс. Но что сталось бы с выставками, если бы там отсутствовали тематические картины?! Все наше поколение — поколение революции, поколение войны и мира — не смогло бы говорить во весь голос.

В связи с этим мне вспоминается один мой давний разговор с известным советским художником. Он сказал: «Нет большой или маленькой темы — есть большие и маленькие художники». «Маленькие» голландцы были большими художниками. Маленькая, старая икона по своему художественному достоинству весит много больше иных наших четырехметровых полотен.

Сюжет, формат — это второстепенное дело. Важно, сколько сердца, умения и искренности вложил художник в свое произведение.

И все-таки нельзя не учитывать, что иконописцы и «маленькие» голландцы жили совсем в иную эпоху, когда существовали совсем иные требования к художнику, иное общество.

Гойя, Делакруа жили в эпоху революции, войны — их искусство преобразилось, хотя и они не забывали изображать мирную жизнь. И наша эпоха, эпоха революций, войны и мира также требует особенного искусства. Я не могу дать ответ, вернее, рецепт, каким оно должно быть, это искусство. Но глубоко убежден, что оно должно быть разным. Каждый художник должен выбрать такой вид искусства, который ближе к его склонностям и дарованию. Конечно, не все обязаны писать тематические картины. И тем более, если не знаешь, что желаешь написать, то лучше уж совсем не брать кисть в руки. Когда же ты уже не в состоянии больше жить, не написав картину, тогда-то и надо ее писать!

Надо браться за картину, когда какая-то мысль, идея тебя теснит, будоражит, не дает покоя. Здесь-то и возникает проблема формы. Немало художников стремятся найти синтез формы и содержания. На этом этапе — этапе поисков — важно предоставить художнику возможность до конца выразить свой замысел, надо поверить ему.

Странно бывает видеть художника, замыкающегося в башне из слоновой кости: он не видит того, что происходит на земле,— ни добра, ни зла. Сердце художника призывает нас не быть равнодушными ни к добру, ни к злу, к смерти и жизни, красоте и безобразию.



Михаил
ЖАРОВ

В ТЕ ГРОЗНЫЕ ГОДЫ



Война застала меня в Днепропетровске, куда Малый театр выехал на гастроли. Я только что вернулся из Сталинграда от режиссеров братьев Васильевых. Они вели там съемки фильма «Оборона Царицына», точнее, его первой серии — «Поход Ворошилова». Меня отпустили на открытие гастролей — я играл Мурзавецкого в пьесе «Волки и овцы» Островского.

Утром 21 июня 1941 года я встретился на Центральном аэродроме с режиссером Борисом Барнетом, мы оба летели: он куда-то на юг, я — в Днепропетровск. На аэродроме нас поразило обилие камуфлированных пассажирских самолетов с фашистской свастикой на борту. Они стояли в ряд, готовые, очевидно, к отлету—в них грузили багаж и садились какие-то люди, выходившие из легковых машин.

Наше внимание привлекли корзинки, плетеные, с ручками, подобные тем, какие бывают сейчас в универсамах. В корзинках лежали... дети.

— Хорошо придумано! За ручку цепляют крючок и подвешивают. Ребенок качается, как в люльке,— сказал я.— Откуда и куда они?

— Похоже, посольские?

— Да, со свастикой. Куда же это немцы собрались?

— Куда, не знаю, но от такого количества свастик — больших на самолетах и маленьких на автомобилях — противно и жутко становится.

Мы простились.

— До встречи, Борис.

— До встречи, Михаил.

Но где и когда мы встретимся, не договорились. Встретились через год в Алма-Ате...

По приезде в Днепропетровск я посетил секретаря обкома партии И. С. Грушецкого. Мы были хорошо знакомы через Корнейчука: в Киеве я снимался в фильме «Богдан Хмельницкий». Там и познакомились.

Иван Самойлович очень тепло приветствовал наш приезд на гастроли:

— Малый театр мы очень любим. Отличный театр. Спасибо, что не забываете.— И, прощаясь, сказал: — До встречи на спектакле.

Играть премьеру мы должны были в новом Дворце культуры рядом с металлургическим заводом.

Так как я давно не играл, а были новые исполнители, мы решили у меня в номере сделать небольшую репетицию. Эту репетицию прервала Софья Фадеева. Она ворвалась в комнату:

— Война! Война же! Война! — И простонав «Ох!», грузно опустилась на кровать.

Я подошел к окну — в сквере стояла огромная толпа. Затаив дыхание, все слушали голос Молотова, доносившийся из репродуктора.

Мы выскочили на улицу. Речь была уже кончена. Толпа еще стояла, чего-то ожидая и растерянно смотря на небо.

В это время к подъезду гостиницы подвели нашего актера Николая Рыжова. Тот вертел в руках измятую шляпу, пытаясь ее расправить. Оказывается, Рыжов, как всегда элегантно одетый, в легком пальто и роскошной серой шляпе, вместе со всеми слушал радио. Его пухлое «барское» лицо привлекло внимание. А на лице этом в момент волнения появлялся обычно нервный тик. Он будто весело подмигивал. Это насторожило какую-то лоточницу, которая торговала папиросами. Когда репродуктор произнес: «Будьте бдительны и внимательны, появились шпионы!»,— лоточница вдруг заорала:

— Держите его!

Все заорали, раздались угрожающие выкрики. Замелькали кулаки. И тогда стоящий рядом офицер, вынув наган и загородив Рыжова, крикнул:

Кадр из фильма «Оборона Царицына», в котором М. И. Жаров начал сниматься в канун Великой Отечественной войны.

— Вы с ума сошли! Это же заслуженный артист Малого театра Николай Рыжов!

Наши мужчины достали свои военные билеты и собрались ехать в Москву на призывные пункты.

— Что же делать нам? — спрашивали наши старики.— Играть или нет? Уезжать или оставаться? Если нужно, мы все останемся. Так и скажите,— волновались Садовский, Массалитинова, Турчанинова, отправляя меня и заведующего труппой А. Е. Пузанкова к секретарю обкома.

У входа мы встретили одного из руководящих работников обкома.

— Товарищи, Иван Самойлович в Москве. Срочно вызвали. Что вы решили, друзья? Говорите скорее! Я спешу на митинг.

Он действительно спешил — тут же у машины я передал ему решение нашего коллектива.

— Спасибо! Сердечная благодарность всем, особенно вашим чудесным старикам. Делайте так, как вам подсказывает ваше сердце: хотите оставаться с нами — спасибо. Хотите уезжать — мы вас немедленно отправим. А вот сегодня играть, я думаю, надо. Это очень важно. Это успокоит людей!

Вечером, в затемненном городе—лишь огни домен освещали большую территорию, в том числе и Дворец культуры,—мы играли пьесу «Волки и овцы». Спектакль шел спокойно, как будто ничего не произошло, но играли страстно и как-то особо вдохновенно. Между выходами мы молча курили на крыльце. Зал был, конечно, несмотря на проданные сверх нормы билеты, полупустой: не пришли мужчины. Мужчины в тот день стояли в очередях у военкоматов...

Продолжать гастроли мы не могли: многие актеры и почти все рабочие сцены были мобилизованы. Я получил срочную телеграмму выехать в Сталинград. Ехать надо было через Москву, и ко мне присоединился до Москвы Пров Михайлович Садовский. На следующий день мы держали путь на Харьков.

Стояло страшное возбуждение. На вокзалах, площадях возникали летучие митинги. И все-таки было тоскливо: горькие слезы, ненужные сегодня слова «Береги себя!», гримасы страдания, крепкие, до крови, прощальные поцелуи и тягучие причитания — все это смешивалось со страстным и душевным пением «Варяга». Пели моряки.

Рядом с нашим поездом, идущим на восток, стоял их эшелон, двигавшийся на запад.

Кто-то из ребят увидел, узнал меня и звонко закричал:

— Братва, Жаров идет! Цыпленок жареный идет.

— Где?

— Вот.

— Ура! — дружно закричали моряки и так же дружно рванули мою песенку из фильма:

Цыпленок жареный
Цыпленок пареный.
Цыпленок тоже
Хочет жить.

— Жаров! Едем с нами. Мы тебе подарим гитлеровские...

Что они хотели мне подарить, я в шуме не разобрал. Раздался мощный взрыв смеха. Заиграла гармошка, и их эшелон тронулся.

К вечеру мы прибыли в Харьков. Посадить нас сразу не смогли. Всюду были толпы людей. С боем брали все поезда. График был нарушен. Люди со своими бебехами сидели на ступеньках. Нас с Провом Михайловичем Садовским поместили в правительственную комнату, обещая при первой возможности отправить в Москву. Я показывал телеграмму с вызовом на съемки картины «Поход Ворошилова».

— Понимаем, все понимаем. Но...

Уже поздно вечером, даже ночью, часа в два, дежурный по станции привел к нам кассира:

— Вот смотри, Верочка. Не вру! Живой Жаров и народный артист Садовский — дайте им билеты в международный вагон. А я их как-нибудь втисну в поезд, который идет из Крыма. Важно влезть, правда? А там уж до Москвы вы посидите на чемоданах,— сказал он, козырнув.

Нас втиснули в переполненный вагон. Потом кто-то уступил Прову Михайловичу место. Он улегся, уже совсем усталый.

Москва была погружена во тьму. Плыли в небе аэростаты.

Утром я уже летел в Сталинград. Поселился в гостинице, рядом с универмагом, в подвалах которого впоследствии был штаб фельдмаршала Паулюса.

Работали мы по-военному, не отдыхая. Снимали ежедневно. Было много неотснятых сцен на натуре. Уезжали мобилизованные актеры, мы кое-что переделывали. Снимали большие массовки и отдельные сцены за хутором под Сталинградом. В город начали переводить госпитали. Потоком устремились с юга Украины беженцы. Из гостиницы, в которой разместили раненых, нас перевели в дом на самом берегу Волги. Очень красивый был вид на Заволжье из этой квартиры артиста Стешина; он умер, его жена отдала нам две комнаты. Одну занял Геловани, другую — я. Когда шли бои в Сталинграде, как я узнал впоследствии, этот дом неоднократно переходил из рук в руки. О нем было даже в сводках Совинформбюро. Он именовался там как «Дом специалистов».

Появились диверсанты. Возвращаясь в темноте со съемок, мы часто видели в поле и в районе железной дороги какие-то сигналы, подаваемые вспышками фонарей. В темном небе тарахтели немецкие самолеты-разведчики.

Днем в городе была невообразимая толчея. На базаре можно было шагать только впритык: толпа вносила тебя в одни ворота и выносила в другие. Но люди рвались к овощам, фруктам, арбузам. Все бурлило, как в котле. Здесь же диверсанты тихо «подкалывали» людей. Дикий вскрик заставлял вздрогнуть. Подколотый падал, его топтали, иногда несли до ворот, где он и падал, уже безразличный к случившемуся. Работала специальная группа диверсантов, пытавшаяся таким образом наводить панику.

Ночью здания города: почта, телеграф, банки — все охранялось солдатами. И несмотря на темные вечера, и несмотря на усталость после трудового дня, мы почти каждый вечер — я говорю почти, потому что иногда и вечером репетировали переделанные сцены для утренних съемок — ездили группами на тракторный завод, работавший круглые сутки. Давали малые, но насыщенные концерты. Один большой концерт мы сделали в городском драмтеатре в помощь Красному Кресту. Билеты по очень повышенным ценам брали нарасхват. Выступали Сергей и Георгий Васильевы, Геловани, Боголюбов, Кадочников. Короче, все актеры и музыканты. Играли сцены, читали воспоминания, говорили о кино. Даже наш пиротехник эффектно продемонстрировал несколько взрывов. Имели успех. Запланировали второе выступление.

...Последнюю сцену — бой Перчихина с белыми казаками, где казак рубает есаула,— снимали на Ма-



Эта фотография подарена М. И Жарову в 1968 году в память о встрече под Сталинградом в первые дни войны. Гвардейцы-танкисты пронесли ее от Москвы до Берлина.

маевом кургане. Снимали два дня. В перерыве — нам туда приносили еду,— лежа над обрывом в полыни, я видел прекрасную панораму: вокзал и линии путей, справа — Волга и даль противоположного берега. Слева — гигантский тракторный завод. Разве мог тогда даже предположить, хотя немцы уже бомбили окрестности, что на этом Мамаевом кургане, где мы разыгрывали последнюю сцену для кино («Битва между красным и белым казачеством»), вскоре произойдут исторические бои между советскими воинами и фашистами, что именно здесь, «во глубине России», в битве за славный этот город будет сломлен хребет фашистскому зверю, а Мамаев курган будет прославлен на века.

Не могу забыть ночи, когда мы проснулись в пять утра от колокольного звона и голоса диктора, который восторженно сообщал: «Говорит Москва! Говорит Москва! Армия фюрера торжественно, под колокольный звон церквей Московского Кремля и восторженное «ура» жителей вступает в Москву». Стало действительно страшно. Но эта немецкая фальшивка испугала только на мгновение. Ее тут же перебило «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война». И такой знакомый голос диктора Юрия Левитана, читавший сводку Совинформбюро.

В то же утро я получил телеграмму из театра, в которой сообщали, что я должен немедленно вылететь в Москву для репетиции «Войны и мира». Сообщалось при этом, что я играю Безухова. Вот передо мной лежит роль, в которой четко написано: «Михаилу Жарову — Илья Судаков». Эту роль мне так и не удалось сыграть...

Съемки в разгаре. Нас отправляют в далекую Алма-Ату заканчивать картину. Я пошел в Прокуратуру РСФСР — она была эвакуирована из Москвы в Сталинград — и показал прокурору телеграмму.

— Что мне делать? Не могли бы вы меня соединить по телефону с Москвой?

— С Москвой сегодня ночью прервана связь. Но приходите вечером, часов в шесть. Будет мое время. Может, я вас соединю. А если вы не сможете поехать в Москву, беды и преступления в этом нет. Вы не дезертир, как вы говорите, находитесь на государственной ответственной работе: играете у братьев Васильевых главную роль. Все законно.

Вечером меня соединили с Москвой, я говорил с Малым театром, с главным администратором М. И. Солониным.

— Мне товарищ прокурор все сказал. Не волнуйтесь, Михаил Иванович. Тем более, что весь театр вчера эвакуирован в Челябинск. Я отправляю имущество,— добавил он усталым голосом.— Работайте у Васильевых, я все расскажу, а когда освободитесь, приезжайте в Челябинск.

Из Сталинграда мы поехали двумя путями. Одна группа налегке со своими чемоданами — режиссеры, операторы и главные актеры — отправилась на Астрахань, на ту сторону Каспия и через Красноводск дальше, на Алма-Ату. Остальные, разместившись в двух пассажирских вагонах и четырех пульманах с грузом костюмов, вооружением, осветительной аппаратурой, поехали в объезд, через Поворино. Дорога из Сталинграда была одноколейная. Я повез поездом эти грузы; со мною ехала эвакуированная из Москвы моя большая семья: отец, мать, жена,

сестры с детьми. Мы были на военном положении, как военнослужащие.

Когда я оформлял документы на оружие, то сообщил члену эвакуационной комиссии в Сталинграде, что нами оставлен в станице, где снимался фильм, броневик с двумя башнями: его дали для съемок из музея в Ленинграде. Как быть? Не оставлять же броневик немцам. Меня успокоили: кому он нужен, этот старый броневик первой мировой войны? Но потом я узнал, что он все-таки не попал в руки неприятеля: был зарыт в землю и использован как дот.

Станция Поворино нас встретила грозно. Она была вся забита составами эвакуированных учреждений, предприятий, заводов. С немецкой точностью, два раза в сутки—в пять часов утра и в шесть вечера—налетали бомбовозы и сбрасывали на узел железных дорог свой смертоносный груз. Работала правительственная тройка, которая определяла очередность отправления составов. Пробиться в диспетчерскую, где работала комиссия, было физически невозможно. Вся платформа была заполнена представителями эвакуированных составов. Дверь охраняли два солдата.

Мы приехали после вечерней бомбежки, мне предстояло добраться до комиссии и предъявить мандат, выданный эвакуационной комиссией в Сталинграде, о продвижении нас вне очереди как действующей киногруппы картины «Оборона Царицына». Предъявить мандат легко, а вот пробраться к хозяевам дороги — это было немыслимо. Толпа ответственных за свои эшелоны стояла плотно, стойко, некоторые здесь торчали уже по нескольку дней. У всех были очень увесистые и убедительные мандаты.

— Товарищи! Я артист Михаил Жаров! Разрешите пробраться! — закричал я звонко.

Гул, говор и шум, сопутствующие толпе, вдруг смолкли. Все головы обернулись в сторону нахально кричавшего человека.

— Вот, смотрите, артист Михаил Жаров! Живьем! Пропустите! А?..

— Давайте пропустим.

Все стало проще: солдатские физиономии заулыбались, бойцы подобрали винтовки «на ремень» и с радостной почтительностью: «Привет, Михаил!», хлопнув увесисто по спине, втолкнули в комнату грозной комиссии.

В два часа ночи наши десять вагонов, прицепленные к составу идущего вне всякой срочности эше-



М. Жаров и режиссер Георгий Васильев на съемках фильма «Оборона Царицына».



Этот музейный броневик был использован как дот в Сталинградской битве.

лона металлургического завода, двинулись из Поворина в длинный путь на Алма-Ату.

Этот путь вместо обычных 3—4 дней мы одолевали месяц.

Казахские друзья встретили нас по-братски. Потеснились все, кто могли и не могли. На второй день приезда, для взаимного знакомства, был организован большой концерт в оперном театре. Успех каждого выступающего трудно переоценить. Особенно любимых актеров встречали стоя.

Под киностудию отдали два помещения: большой кинотеатр на центральной улице, против оперы, и Дом культуры, где организована была центральная объединенная киностудия из Лен- и Мосстудий. Группа братьев Васильевых—операторы, актеры Геловани (Сталин), Боголюбов (Ворошилов) и другие,—уже была в Алма-Ате.

Гостиницы все были заняты: командировочные, эвакуированные писатели, кинематографисты, художники, работники Театра имени Моссовета. Этот театр был в полном составе во главе с Ю. А. Завадским. С ними была Галина Уланова. Нас временно разместили в пустующих комнатах студии.

Производство начинало разворачиваться стремительно, хотя все было против: началась эпидемия брюшного тифа и прочих заболеваний, с которыми приехали ленфильмовцы из блокадного Ленинграда. К тому же днем не хватало электричества — работали оборонные предприятия. Снимали ночью.

Уланова лежала в больнице в брюшняке. Нужно было спасать ноги. Делали ей по очереди массаж ног — с утра до вечера добровольно все служащие больницы. Друзья-казахи спасали русскую балерину. После болезни Г. Уланова решила выступить в «Лебедином озере». Выбежав на сцену, она встала на пуанты и не удержалась—ноги отказали. Зрители переполненного театра встали и устроили ей овацию. Она ушла за кулисы. Сосредоточилась, дала знак оркестру и выбежала в броске легко и изящно. Встали во второй раз и второй раз устроили ей овацию. А стало быть, и не только ей, но и всем, кто ее спасал, и спас для искусства...

Когда мы уже репетировали с Пудовкиным «Русских людей», я сговорился с Константином Симоновым (он приехал ненадолго в Алма-Ату) о встрече. Константин Михайлович хотел мне рассказать о Глобе и заодно выслушать мои соображения. И вот однажды я вошел в его рабочую комнату: по моим расчетам диктовать стенографистке Костя должен был кончить. Не рассчитал. Симонов, держа в руках трубку, ходил из угла в угол и говорил, вернее, разговаривал сам с собой. Указав мне на стул и сделав знак трубкой «помолчи», он продолжал какой-то очень важный спор между двумя персонажами. Мне было интересно увидеть, как работает писатель Константин Симонов. Все было, как в жизни: идя в одну сторону, говорил один, а на повороте, идя в другую сторону, ему отвечал собеседник; иногда оба «собеседника» останавливались и, что-то жестикулируя, доказывали; иногда Симонов молча качал головой и, шепча что-то про себя, просто ходил. Позже, правя стенограмму, он вписывал картинки природы, окружающего действия.

— Ну, на этом кончили. Точка,—сказал он стенографистке и сразу ко мне:—Пить чай будешь?

Валентина Серова принесла чай, и мы начали разговор.

— Мне почему-то очень хочется, чтобы Глоба, когда пьет, сказал в стихах тост.

— А зачем?

— Не знаю. Но чувствую, что надо. Он ведь пьет не ради того, чтобы напиться, а пьет ради того, чтобы высказаться.

— Возможно.

— Какую-нибудь прибаутку. Чтобы всем стало легко и весело.

— Костя! Есть смешные поговорки на рюмках. Ты знаешь, Миша, бемовский сервиз для водки?—спросила Валя Серова.—Зеленое стекло с нарисованными художницей Бем чертиками и стихами?—Она произнесла на память две-три надписи, и я сразу отобрал.

«Рюмочка Христова, откель ты?—Из Ростова.— Паспорт есть?— Нема. Вот тебе и тюрьма».

Я взял стакан и прорепетировал. Получилось очень лихо. Костя улыбнулся и сказал:

— Нравится — говори.

— Ты скажи, чтобы Пудовкин не возражал.

— Если это, как ты убежден, к месту, он возражать не будет.

На съемке, когда я сыграл всю сцену со своей вставкой, Пудовкин все выслушал, посмотрел на Симонова и категорически крикнул:

— Съемка! Так снимаем.

Сняли даже без дублей, на которых Пудовкин всегда настаивал, если вводили вариант.

Симонов присутствовал на всех репетициях и съемках. Сидел он тихо, пыхтя трубкой. Очень внимательно выслушивал предложения или так же тихо останавливал работу — вмешивался. Он находился в Алма-Ате на отдыхе после длительного пребывания на Южном фронте, на Черном море, когда с экипажем подводной лодки, пройдя минные заграждения, побывав в тылу у противника, тем же сложным путем через мины вернулся обратно. Это был смелый, ответственный разведывательный бросок, о благополучном исходе которого можно было только мечтать. Но бросок был удачен, может, по причине своей неожиданности и дерзости.

Константин Михайлович об этом походе говорил редко и сдержанно. Я думаю, что он не хотел расплескивать то ощущение, с которым люди шли на смерть во имя жизни. Между прочим, картину он предложил назвать не «Русские люди», под этим названием ее уже хорошо знали по пьесе (в которой с большим мастерством и достоверностью Дмитрий Орлов играл Глобу), а «Во имя Родины». В картине блестяще играли Жизнева и сам Пудовкин. Из моих сцен я вспоминаю эпизод у немцев: допрос Глобы. Как точно и виртуозно Всеволод Илларионович подбрасывал мне «приспособления» в диалоге, когда Глоба рассказывает, как и зачем перебежал к немцам. Эта сцена на просмотре была очень тепло оценена зрителем, как и мирная сцена, где Глоба покидает землянку, направляясь в стан врага. У меня была маленькая вместо расчески щеточка, которой Глоба расчесывал свои пышные усы. Он был аккуратен, опрятен и чист, этот застенчивый фельдшер. Где-то найденный кусок разбитого зеркала он приспособил на стене землянки и, проходя мимо, не пропускал случая, чтобы не распушить свою гордость — усы.

Во время репетиций, которые мы делали, свободно импровизируя в заданных обстоятельствах, Глоба, прощаясь с друзьями, подошел к зеркалу взглянуть на себя в последний раз, «проверить готовность», достал щеточку и, старательно взбив усы, положил ее в карман гимнастерки, но вдруг остановился: «А зачем я ее беру с собой? Она мне уже больше, наверное, не пригодится. Так пусть пользуются ею оставшиеся — живые»,—подумал он и, вернувшись, положил ее около зеркала. В павильоне было тихо, когда я, обойдя декорацию, вернулся к исходной точке. Все молчали... Пудовкин молча приспосабливал под зеркало какую-то щепку. «Ага, значит, не вышло!»— подумал я. 31

— Понимаешь, Всеволод... Глоба, уходя...

— Когда будешь уходить, положи щеточку аккуратно на щепку и, уже не глядя в зеркало, ступай. Все деловито. Никаких сантиментов. Понял?

— Спасибо!

Я посмотрел кругом, все работали на своих местах тихо и сосредоточенно. Крючков мотнул головой и незаметно показал большой палец. После двух дублей оператор Волчек сказал:

— Все! Перекур,—и вышел из павильона.

Не знаю, почему, оставшись один у декорации, я повторил всю сцену и заплакал. Почему? Не знаю.

Сергей Михайлович Эйзенштейн приехал в Алма-Ату вместе с актерами ВГИКа и студентами. Он привез свои вещи, много-много ящиков книг, которые мы втиснули в его мини-комнатушку и по его указанию расставили по стенкам—один ящик на другой. Отбивал крышки он сам — никому не доверил. «Испортите книги, знаю я вас, неучей».

Наконец, оглядевшись, он весело сказал:

— Неплохо получилось, а? Стеллажи с книгами и раскладушка. Совсем, как у Пушкина. Только твори!

Затем вытащил свои мексиканские сувениры и возбужденно стал их расставлять, развешивать, втыкать между ящиками.

Мексика вздыбила всю комнату яркостью красок, и, как ни странно, это очень гармонировало с горами Алатау, которые выскакивали ввысь прямо за окном.

Злым, мрачным, усталым я Сергея Михайловича никогда не видел. Сосредоточенным — да. Улыбающимся — всегда. Даже когда он говорил об «Иване Грозном»,—а он был весь в этом своем произведении,— его глаза улыбались, как бы прощупывая собеседника. Он не считал, что улыбка ставит слушателя в положение умного, все понимающего собеседника — нет. С улыбкой у рассказчика снималось ненужное стеснение и оба собеседника «были умные дураки» — как любил говорить Сергей Михайлович. Он улыбкой предлагал дружбу, хотя далеко не со всяким был откровенен.

Сразу, как только определилось (Эйзенштейн принял в этом деятельное участие), где разместят студентов и где будет ВГИК, он начал свои уроки на режиссерском факультете.

Однажды он обратился ко мне через окно-форточку на кухне (по просьбе Сергея Михайловича — он оставался часто один — была пробита форточка из его кухни в кухню Черкова, «для связи с трактиром»: на кухне у Черковых всегда кто-то был—болтали, сообщали новости, слушали радио, даже раскладывали пасьянсы и пели—словом, там была добротная извозчичья чайная). Сергей Михайлович попросил меня встретиться на уроке с его ребятами и рассказать им про мастерство актера. «Я слышал вас в Колонном зале на вечере киноартистов, ловко рассказываете небылицы. Всему веришь. Убедительно!»

— Хорошо, научу ребят врать убедительно.

Ребят на его курсе было немного, но в зале было полно — собрались студенты других факультетов. Эйзенштейн, глядя на часы, качал головой. Начал он урок ровно в шесть, говорил о значении в кино актера. И остановился: дверь робко открылась, и два опоздавших студента на цыпочках, вгоняя головы в плечи, втиснули себя в группу сидящих.

— Мы находимся не в Москве, не в институте, а в далекой Алма-Ата (Эйзенштейн утверждал, что Алма-Ата не склоняется). Под Москвой сейчас идут бои, а вас, молодых, привезли сюда. Зачем? Бить баклуши? Нет. Учиться... Пять минут! А вы знаете, что такое пять минут: в кино, в жизни, на войне? Это разрушенные города, это поверженные «победители». Это смысл картины! Это борьба за идею! А вы опаздываете... на пять минут. Все!.. Об этом я никогда больше не упомяну, но работать будем вдвое стремительнее и продуктивнее. Военное время. Кто этого не поймет — тот ничего не поймет.

Эту тираду он произнес сразу, без паузы, без раскачки, четко, как будто только и ждал появления этих двух жалких фигур.

Приготовившись начать свое выступление с шутки, разогретый, распаленный его выступлением, я вдруг заговорил душевно, доверительно и, как мне казалось, к месту: о высокой миссии кинематографистов, о наших «снарядах», которые мы готовим в виде военных сборников, о кадрах, за которые отвечают мастера, и поэтому...

— И поэтому сейчас Михаил Иванович поделится своим опытом, мыслями, фантазиями о комедии, об актерах, о трюках. А ему есть что рассказать,— вернул меня Эйзенштейн к теме.

Мы оба облегченно вздохнули, и я начал фантазировать...

Эйзенштейн сел рядом с ребятами, они окружили его дружным кольцом и стали слушать. Это был чудесный вечер. Самым внимательным и самым обаятельным зрителем был он. Я рассказывал, показывал... Он хохотал больше всех, щипал свои несуществующие усы, его умный и ядовитый глаз помогал мне выстраивать один за другим убедительные примеры трюков, которые порой с удивительной легкостью я сочинял на ходу,— для меня не было творчески неоправданных преград при выполнении любого трюка.

Учась в школе импровизации у Ф. Ф. Комиссаржевского и в дальнейшем, будучи молодым актером, я делал это лихо. Меня хлебом, бывало, не корми, а дай сделать трюк.

Ребята оттаяли, развеселились, стали мне задавать вопросы.

— Правда, что многие актеры не могут играть, пока не найдут характерности? Как к этому относитесь вы?

— Я думаю, что в тех случаях, когда образ не найден, не виден во всей психологической глубине, приходит на помощь «палочка-выручалочка» со своими штампами, и профессионал, прячась за характерностью, «выходит» из творческого тупика, обманывая себя.

Студия в Алма-Ате работала напряженно и очень продуктивно: несмотря на трудные военные условия, кроме художественных фильмов, делали «Военные сборники». Я снялся в трех сборниках.

— Миша,—как-то сказал мне Трауберг,—я ставлю фильм «Актриса»— всего две роли. Играют Галина Сергеева и Борис Бабочкин. Но мне хочется, чтобы участвовал и ты. Знаешь, я тебя сниму в госпитале, куда приезжает бригада артистов во главе с Михаилом Жаровым (так мы тебя и будем звать) и устраивает концерт. Прочти что-нибудь поинтереснее. Может, Зощенко даст, поговори с ним.

Зощенко дал мне папку с разными рукописями и по обыкновению мрачно сказал:

— Берите, что хотите.

Я взял у него из папки... рассказ Карбовской «Злая кровь».

Рассказ имел огромный успех, особенно у военных.

Нас с Целиковской вызвали в Москву выступать на обсуждениях нового фильма.

Председатель Комитета по делам кино позвонил в Политуправление по телефону:



М. И. Жаров с летчиком, который послужил прототипом главного героя в фильме «Воздушный извозчик».

— Мы приняли картину по сценарию Евгения Петрова «Воздушный извозчик» о героизме советских летчиков. Артисты предлагают показать премьеру не только в Москве, но и на фронте, у летчиков.

Нам перезвонили из Политуправления.

— Кто поедет с картиной?

— Жаров, Целиковская и аккордеонистка Склярова.

— Завтра в девять могут выехать?..

Точно в девять в гостиницу «Москва», где мы остановились, явился майор.

— Прибыл в ваше распоряжение с машиной.

— Куда едем?

— Недалеко, за Можайск.

Первую остановку мы сделали в Можайске. Показали картину в штабе армии, потом жителям города, после чего и выехали в расположение армии генерала М. М. Громова.

Лес, река и тишина. Ехать тяжело, дорога тряская, идет по болоту, едем по настилу из бревен. Головы болтаются из стороны в сторону, как у китайских болванчиков. Подъехали к пригорку. Тихо, даже не слышно птиц.

— Первая воздушная,— как бы что-то осмысливая, сказала Целиковская.

— Может, заблудились? — спрашиваю я у майора.—Ни указателей, ни людей...

— Да нет. Где-то здесь.

— Здоровеньки булы! Вы до нас?—весело сверкая глазами, вдруг как-то по-домашнему спросил вылезший из березового молодняка пожилой солдат, но, увидя Целиковскую, крутанул усы:

— Приехали!

Он нырнул в кусты, и мы пошли за ним ходами, прикрытыми маскировочной сеткой. Поместили нас в землянке, где стояли три койки,—кого-то из-за нас потеснили.

— Отдыхайте, товарищи, до темноты,— сказал адъютант командующего.— Извините за тесноту —у нас гости из Москвы.

В одиннадцать часов ночи нас разбудили и опять ходами-переходами провели в импровизированный театр: помещение в горе — человек на триста, с экраном из сшитых простыней. Усадили в ложу, сбитую из досок. Здесь мы и познакомились с гостями из Москвы — маршалом авиации А. А. Новиковым и генералом Н. С. Шиматовым.

Трудно забыть, а еще труднее рассказать, как мы волновались. Премьера на фронте, в лесу, у героев нашей картины: летчики в зале и летчики на экране. Картину мы смотрели как бы впервые, настолько была неожиданна реакция зала: и понимающее молчание, и смех, и бурные аплодисменты. Затем мы дали концерт. Я рассказал, как делали картину. А потом нас пригласили поужинать в землянку к командующему. Зашел интересный разговор о роли искусства на войне.

— Это тоже оружие, причем, важное,—как бы размышляя, тихо произнес маршал Новиков.— К сожалению, мало делается кинокомедий. А как они нужны!

— На фронте?— спросил я удивленно.

— Да, именно на фронте! Они поднимают настроение, вызывают улыбку. Да разве вы не ощутили по приему, какой заряд энергии вы сегодня дали ребятам!

В этой землянке, где — как я потом понял—происходило важнейшее совещание по обсуждению планов наступления, нам подсказали темы новых кинокомедий.

— Вот вроде бы незаметная по сравнению с другими военными делами служба на ложных аэродромах. А знаете,—запальчиво и увлеченно говорил маршал,—сколько человеческих жизней спасли эти скромные труженики, заставляя фашистские бомбардировщики сбрасывать свой смертоносный груз на фанерные макеты...

Все говорили заинтересованно. Рассказывали о героизме летчиков, совершавших опаснейшие полеты к линии фронта на мирных «огородниках»— «У-2».

Так родились потом из этого разговора темы комедий «Беспокойное хозяйство» и «Небесный тихоход».

Когда мы вышли из землянки, вдруг дрогнула и заколебалась земля, раскололось рассветное утро: оказывается, в тот день началось наше наступление на Смоленск. Семь дней мы были в армии, семь дней и ночей выступали перед летчиками, бойцами в короткие промежутки отдыха между боями. Продвигались с ними по родной освобожденной земле, видели, как драпали немцы. Фашисты бросали чемоданы, тряпки, велосипеды, пачки писем. Оставались их аккуратно распланированные кладбища с березовыми крестами.

Не могу забыть, как однажды после киносеанса ко мне подошел человек.

— Товарищ Жаров, разрешите с вами познакомиться и поблагодарить. Я и есть тот самый Баранов, «воздушный извозчик», которого вы играете в кино.

Оказывается, где-то в Одессе он встретился с писателем Евгением Петровым и рассказал ему свою историю. Она легла в основу сценария фильма «Воздушный извозчик». Мы с ним сфотографировались тогда на память, и я бережно храню эту старую, дорогую мне фотографию.



ходьбе бывает такое. И обязательно под аплодисменты зрителей. Хотя судьи всегда недовольны этой демонстрацией дружелюбия и одному из двух обнявшихся ходоков в итоговом протоколе всегда дают место выше, а другому — ниже. Впрочем, этому финишному миролюбию предшествует тяжелая борьба на дистанции, после которой спортсмены, убедившись в равенстве сил, договариваются финишировать вместе, дабы во время яростной схватки на последних метрах не вводить себя в искушение перейти с ходьбы на бег.

По радио объявляют результат победителя: 1 час 31 минута 24 секунды. Сорокалетний Агапов превысил мастерский норматив.

Поздно вечером мы гуляли с Агаповым по пустынным Песчаным улицам. Окна домов синевато светились — видимо, по второй программе все еще показывали необыкновенные подвиги Штирлица.

— Раньше любили писать,— говорил Агапов,— о том, как, набегая на финишную ленточку, наш чемпион вспоминал свое босоногое детство и три березы у чистенькой хатки. Это вдохновляло его на подвиг, и он в последнюю долю секунды опережал коварного заокеанского супермена. Но о постороннем на соревнованиях не думаешь. На тренировках — другое дело; шагаешь по лесу, наслаждаешься. А на соревнованиях варианты считаешь, секунды, круги, технику контролируешь. В борьбе я натянут, как струна. Иного и быть не может. В голове только схватка, особенно когда закатишь настоящую частуху.

Я спросил Агапова, как он реагирует на зрителей, которые, увидев ходоков, не упускают случая поупражняться в остроумии.

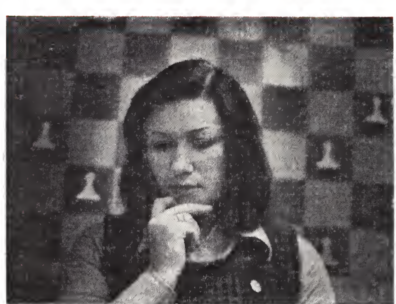
— Привык,— ответил он,— хотя и не могу сказать, что это мне приятно. Однако мы же не теноры, чтобы за аплодисментами гоняться. Мы работяги. Но вот запомнился мне один случай. Как-то тренировались мы с Володей Голубничим недалеко от Дома отдыха работников искусств. Идем по аллее парка, четко работаем. А на скамеечке две дамы средних лет. Смотрят на нас очень внимательно, а одна говорит: «Удивительно красиво идут ребята!»

И, наконец, я спросил Агапова, устает ли он от обычной ходьбы по улицам?

— Нет,— сказал Агапов,— я даже не понимаю, как можно уставать от ходьбы. Меня утомляет только бессмысленное хождение — например, с женой по магазинам. И не забудьте, что я солдат. Как солдату не ходить! Наш пехотинец до Берлина дошел. Сейчас мы мотопехота. Хоть и мото, но все-таки пехота. Пешком — надежно!

А. ПИНЧУК

ШАШКИ ДРЕВНЕЕ, ШАШКИ СЛОЖНЕЕ...



Москвичка Елена Михайловская стала, как известно, победительницей первого чемпионата мира по международным шашкам. Договорившись с чемпионкой мира о встрече, я никак не полагал, что наш разговор примет такой неожиданный оборот.

Вначале Михайловская рассказала мне, что чемпионат мира не случайно проводился в Голландии и именно в Амстердаме.

— Там находится огромный сахарный концерн, владелец которого — известный шашечный меценат. Это он финансировал ежегодно проводившиеся в Амстердаме новогодние турниры, которые так и назывались — сахарными. Когда принято было решение разыгрывать чемпионаты мира среди женщин, концерн, а точнее его хозяин, не пожелал расставаться и с этим турниром. Голландцы, которые беспредельно влюблены в шашки, были ужасно рады этому. В Амстердаме я не раз слышала, что шашки в характере голландцев. Не знаю, как насчет характера, но что самые популярные в Голландии виды спорта футбол, коньки и шашки — это очевидно. Шашечные турниры проводятся с огромным бумом. Играют шашисты в великолепном зале лучшего амстердамского отеля «Краснопольски», прямо напротив королевского дворца. Зрителей в зале битком. Проходил в Голландии же, в Гронингене, чемпионат Европы по шахматам среди юношей — ему в газетах пять-шесть строк. А шашкам несколько страниц. Огромные, на полполосы снимки. Радио и телевидение тоже уделяют шашкам большое внимание. Голландец Макс Эйве, экс-чемпион мира по шахматам и пре-

Фото А. КАРЗАНОВА.

зидент Международной шахматной федерации, при мне признался: «Я ревную голландцев к шашкам!..» Да, шашки очень любимы в Голландии, а, скажем, Вирсма или тем более чемпион мира Сейбрандс так же популярны в стране, как Схенк или Круифф.

— Что из себя, кстати, представляет Сейбрандс?

— Широкоплечий, здоровенный, голубоглазый блондин с вьющимися, длинными-предлинными (до пояса, наверное) волосами. Характер у него фишеровский и фишеровские же замашки. Между прочим, когда Сейбрандса назвали шашечным Фишером, он обиделся и сказал, что это он, Фишер, шахматный Сейбрандс.

— Забавно. Но сейчас меня больше интересует не Сейбрандс, а Михайловская. Почему вы избрали такой — не обижайтесь, пожалуйста,— не очень популярный у нас вид спорта? Почему рвутся в шашки голландцы, это я понял. А вот...

— Вы заблуждаетесь, считая, что шашки в чести только у голландцев. Среди сильнейших шашистов мира есть представители таких стран, в которых, насколько мне известно, нет сколько-нибудь сильных шахматистов. Я имею в виду такие страны, как Сенегал, Суринам, Шри Ланка, Гаити. Чемпион мира среди юношей сейчас, кстати, гаитянин Робийяр.

— Но у нас-то шахматы намного популярнее шашек.

— Вам потому так кажется, что о шахматах больше пишут.

— Но вы же не будете спорить, что шашки победнée, попроще шахмат?

— Если победнее да попроще, то чем объяснить, что в шахматы играют пять часов, а в шашки — шесть? Однажды заслуженный тренер СССР Курносов провел с несколькими известными шахматистами своеобразное соревнование. Он попросил шахматистов решить простенькие шашечные этюдики — два против двух. А шахматисты дали ему решить трехходовки. И что же? Курносов из десяти задачек не решил, кажется, одну, а шахматисты из десяти решили одну. Причем, задачи-то были из русских шашек, а не из стоклеток. Петросян — он был среди этих шахматистов,— встречая после этого Курносова, говорил ему: «Помню, Николай Матвеевич, как вы научили нас шашки уважать!» Другой экс-чемпион мира, Борис Спасский, по рассказам его сестры Ираиды — она наша, одна из сильнейших шашисток — очень любит решать концовочки в шашках. Он тоже не считает, что шашки пустячок. Эммануил Ласкер, который тоже был чемпионом мира по шахматам, пришел к такому выводу: «Шашки — мать шахмат. И достойная мать».

— А почему же у вас в шашках все ничьи да ничьи?

— Шахматы в сравнении с шашками находятся в младенческом возрасте. Шашки — древняя игра и лучше исследована. Вот вы возьмите легкую атлетику или, скажем, тяжелую. Когда-то рекорды там улучшались на пять секунд, на десять сантиметров, на пять килограммов, а сейчас рост замедлился — до десятых долей секунды, до сантиметриков, до полукилограммов. В шахматах сейчас больше ничьих, чем было раньше, а будет еще больше.

— Значит, шашки, по вашему мнению, превосходят шахматы?

— Русские шашки, может, и уступают шахматам немножечко. Но если взять международные шашки — стоклетки,— то они сложнее шахмат. И, я уверена, они затмят шахматы! Так и напишите.

— Скоро затмят?

— Шахматам повезло: во всем мире играют по одним и тем же правилам. На Цейлоне, говорят, есть такая фигура — крокодил, но это особый случай. А в шашках что получается? Сколько шашек, столько систем. Есть русские шашки, есть вавилонские, итальянские, испанские, немецкие, турецкие, японские, индонезийские, североамериканские, канадские, английские. В одних 64 клетки, в других — 100, в третьих — 144; в одних играют на черных полях, в других — на белых; в одних можно бить и вперед и назад, в других — только вперед, в одних есть свобода выбора при взятии, в других — нет. Во всех упомянутых шашках правила хоть чем-то да разнятся. Шашек огромное множество, и по всем проводятся свои чемпионаты.

— Значит, дело только за тем, чтобы весь мир начал играть в шашки по одним правилам?

— Именно это я хотела сказать. Вообще-то шашки доступнее и на первых порах проще, чем шахматы. Так что перейти от своих шашек к каким-то одним не очень сложно. А международная федерация шашек взяла за эталон стоклетки (любопытно, что родом они из Польши, но особой популярностью пользуются не на родине, а во Франции и в Голландии). И теперь все желающие участвовать в международных соревнованиях, в чемпионатах мира должны переходить на стоклетки. Так пришлось поступить и мне. Я четыре раза побеждала на чемпионатах страны, но по русским шашкам чемпионаты мира не проводятся, и мне пришлось осваивать стоклетки.

— Вы давно играете в шашки?

— В нашем дворе все ребята занимались спортом. Между прочим, в детстве я была дружна с Валерием Харламовым и хорошо помню, как в пионерлагере Валерку не брали в турпоходы. У него было что-то врожденное с сердцем, и его даже от зарядки освобождали. Он просится в поход, чуть не плачет: «Я уже три года в хоккей играю!»,— а его и слушать не хотят. Я же начала в «Динамо» с плавания, потом перешла в коньки. Как-то динамовский каток был закрыт, и мы тренировались на Стадионе юных пионеров. Замерзла я, забрела в корпус погреться. Поднялась наверх, а там — шахматы, шашки. Я до этого только во дворе играла да с бабушкой. Правда, склонность к математике у меня всегда наблюдалась. С удовольствием решала в «Науке и жизни» всякие там головоломки, математические досуги... И вот шашечный тренер — а это был нынешний чемпион страны по стоклеткам Агафонов — говорит мне: «Хочешь, покажу тебе комбинацию?» Интересная была комбинация, очень эффектная. В шахматах таких не бывает. С этой комбинации все и началось.

— А кто вас сейчас тренирует?

— Мной руководит заслуженный тренер СССР Николай Курносов. А повседневно — Алексей Сальников, чемпион страны по композиции, мой муж.

— Скажите, мужчины, как и в шахматах, играют в шашки сильнее женщин?

— Да, пока это так. На нас, женщинах, и дети и домашнее хозяйство. Нам трудно уделять шашкам столько времени, сколько уделяют им мужчины. Но тем не менее и сейчас мы кое-чего уже добиваемся. Спасской и мне удалось выполнить норму мастера спорта в мужских турнирах. Причем, Ираида едва не выиграла у такого известного мастера, как Тенёв, а мне удалось нанести поражение Святому, многократному чемпиону Ленинграда, призеру чемпионатов страны. Или вот девочка — она даже не мастер, а кандидат в мастера — Судварг из Оренбурга. Встретилась она в турнире городов с Миловидовым, чемпионом страны по русским шашкам, и победила его — выловила на теоретическую новинку.

— А кто чемпион по шашкам в вашей семье?

— Алексей, конечно, играет посильнее...

В НОМЕРЕ

О пользе занятий боксом

Як. ЗИСКИНД

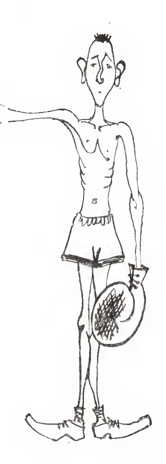
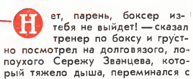


Рисунок
И. БРОННИКОВА.



Нет, парень, боксер из тебя не выйдет! — сказал тренер по боксу и грустно посмотрел на долговязого, лопоухого Сережу Званцева, который тяжело дыша, переминался с ноги на ногу.

— Почему не выйдет? Я буду стараться... Вот увидите!

— Ты так любишь бокс?

Сережа кивнул, но почему-то отвел взгляд в сторону.

— А если честно? — усмехнулся тренер.

Сережа молчал.

— Ясно. Картина, значит, такая: тебя кто-то обидел, и ты хочешь набить ему морду грамотно. Этому я не учу.

— Честное слово, нет! — с жаром возразил Сережа.

— Значит, просто хочешь быть сильным и смелым?

— Нет... Я в будущем году хочу поступить в институт. А им нужны боксеры.

— Кому им?

— Институту. Папе знакомый аспирант обещал: «Если ваш сын будет боксером, ручаюсь, мы примем его с тройками».

— Вот оно что! — рассмеялся тренер.— Я думал, спорт—путь к здоровью, а он, оказывается,— путь к образованию. Может, тебе лучше заняться баскетболом? Рост у тебя подходящий.

— С баскетболистами у них все в порядке. Им нужны или боксеры или пловчихи. Знакомый аспирант сказал.

— М-да...— Тренер почесал в затылке.— Безвыходное положение. Пловчихой тебе ни за что не

МИНИ-ЮМ

Если что посеешь, то и пожнешь, то где же прибыль?

Правило было настолько хорошим, что его сделали исключением.

Не будь Прометея, не